Современная фантастика

Роберт Силверберг

КНИГА ЧЕРЕПОВ

УМИРАЯ В СЕБЕ



ТЕРРА – КНИЖНЫЙ КЛУБ

Книга Черепов

Роберт Силверберг

Роберт Сильверберг. Книга Черепов
1. ЭЛИ
2. НЕД
3. ТИМОТИ
4. НЕД
5. ОЛИВЕР
6. ЭЛИ
7. ТИМОТИ
8. ОЛИВЕР
9. НЕД
10. ОЛИВЕР
11. ЭЛИ
12. ОЛИВЕР
13. НЕД
14. ТИМОТИ
15. ОЛИВЕР
16. ЭЛИ
17. НЕД
18. ЭЛИ
19. ОЛИВЕР
20. НЕД
21. ТИМОТИ

22. ЭЛИ
23. НЕД
24. ТИМОТИ
25. ЭЛИ
27. ЭЛИ
28. НЕД
29. ТИМОТИ
30. ОЛИВЕР
31. ЭЛИ
32. НЕД
33. ЭЛИ
34. ОЛИВЕР
35. ТИМОТИ
36. ОЛИВЕР
37. ЭЛИ
38. НЕД
39. ОЛИВЕР
40. ЭЛИ
41. НЕД
42. ЭЛИ

Роберт Сильверберг
Книга Черепов

1. ЭЛИ

По Новоанглийскому шоссе въезжаем с севера в Нью-Йорк. Оливер, как всегда, за рулем. Неутомим, расслаблен, окно полуоткрыто, свежий ветерок полощет длинные светлые волосы. Тимоти обмяк на сиденье рядом. Спит. Второй день наших пасхальных каникул: уродливые островки почерневшего снега свалены грязными кучами на обочине. В Аризоне не будет мертвого снега. Рядом со мной на заднем сиденье Нед что-то царапает в потрепанном, скрепленном спиралью блокноте, заполняя страницу за страницей своим почерком с левым наклоном. Его темные глазки светятся демоническим блеском. Наш дешевенький, голубенький Достоевский. В левом ряду сзади взревел грузовик, обошел нас и вдруг, круто подрезав, влез в наш ряд, почти не оставив нам места. Мы чуть не вмазались. Оливер ударил по тормозам, выругался. Тормоза взвизгнули, нас швырнуло вперед. Через долю секунды он перестроился в пустой правый ряд, чтобы в нас не врезалась машина сзади. Тимоти проснулся.

— Какого черта? — пробурчал он. — Неужто так

трудно дать мне чуток вздремнуть?

— Мы едва не погибли, — пылко сказал ему Нед, подавшись вперед, выплевывая слова в большое розовое ухо Тимоти. — Забавно получилось бы, да? Четыре положительных молодых человека, направляющихся на запад за вечной жизнью, раздавлены грузовиком на Новоанглийском шоссе. Их гибкие молодые конечности разметались по всей обочине.

— Вечная жизнь, — произнес Тимоти. Ругнулся. Оливер хохотнул.

— Шансы пятьдесят на пятьдесят, — заметил я уже не в первый раз. — Экзистенциальная игра. Двоим достанется жизнь вечная, двоим — смерть.

— Экзистенциальное дерьмо, — откликнулся Тимоти. — Старик, ты меня удивляешь. Как это тебе только удается выдавать это экзистенциальное число с таким серьезным видом? Ты что, и вправду веришь?

— А ты нет?

— В «Книгу Черепов»? В твою аризонскую Шангри Ла?

— Если не веришь, то почему тогда потащился с нами?

— Потому что в Аризоне в марте тепло. — В

разговоре со мной он употреблял легкий, небрежный тон гол из деревенского клуба Джона О'Хары. Он так умело им пользовался, что меня всего передергивало. За его спиной восемь поколений лучших людей страны. — Могу же я позволить себе сменить обстановку, старичок.

— И это все? — спросил я. — В этом и состоит вся глубина твоих философских и эмоциональных обоснований этой поездки? Ты заставляешь меня испытывать чувство вины. Одному Богу известно, почему ты считаешь нужным вести себя так отстраненно и хладнокровно, когда речь идет о таких вещах. А еще этот твой тягучий акцент; а это аристократическое убеждение в том, что обязательства любого рода — нечто грязное и неприличное, что они…

— Не надо меня обличать, пожалуйста, — перебил Тимоти. — У меня нет настроения углубляться в этнопсихологический анализ. Довольно утомительное занятие.

Произнес он это вежливо, уходя от разговора с назойливо настойчивым еврейским мальчиком, вполне дружелюбным, достойным истинного американца способом.

Больше всего я ненавидел Тимоти, когда он начинал щеголять передо мной своей наслед-

ственностью, своим естественным произношением напоминая мне, что его предки основали эту великую страну, в то время как мои копали картошку в литовских лесах.

— Хочу еще немножко вздремнуть, — сказал он. Оливеру же заметил:

— Чуть повнимательней следи за этой долбаной дорогой, ладно? И разбуди меня, когда доберемся до Шестьдесят седьмой.

Теперь, когда он обращался не ко мне — непростому, действующему на нервы представителю чуждой, малоприятной, но, что не исключено, превосходящей породы, — в его голосе произошла некоторая перемена. Теперь он сделался сельским помещиком, разговаривающим с простым крестьянским парнем. Такие отношения подразумевают отсутствие каких бы то ни было сложностей. Дело, конечно, не в том, что Оливер так уж прост. Но именно таков был его экзистенциальный образ в глазах Тимоти, и образ этот действовал, определяя их отношения независимо от реального положения вещей.

Тимоти зевнул и снова отключился. Оливер резко надавил на педаль газа, и мы стрелой помчались за грузовиком, ставшим причиной наших неприятностей. Обогнав его, Оливер пе-

рестроился и занял позицию впереди, как бы подзадоривая водителя сыграть еще разок в ту же игру. Я беспокойно оглянулся на красно-зеленое чудовище, нависшее над нашим задним бампером. Вверху неясно маячило злое, угрюмое, неподвижное лицо водителя: здоровенные небритые щеки, холодные глаза с прищуром, плотно сжатые губы. Будь его воля, он бы смел нас с дороги. От него исходили волны ненависти. Он ненавидел нас за то, что мы молоды, за то, что мы симпатичны (это я-то симпатичен!), за то, что у нас есть время и gelt[1] учиться в колледже и забивать себе мозги всякими бесполезными вещами. Там, наверху, сидело само невежество, причем воинствующее. Плоская голова под засаленной тряпичной кепкой. Более патриотичный, с более высокими, чем у нас, моральными устоями трудяга-американец, раздосадованный тем, что вынужден болтаться за четырьмя щенками-умниками. Я хотел было попросить Оливера перестроиться, прежде чем нас протаранят, но тот не сходил с полосы, держа скорость на пятидесяти милях в час, блокировав грузовик. Иногда Оливер бывает очень упрям.

---

[1] Примечания: 1
деньги (нем.).

Мы уже въехали в Нью-Йорк по какому-то шоссе, прорезавшему Бронкс. Места, мне незнакомые. Я — дитя Манхэттена: ездил только подземкой. Даже автомобиль водить не умею. Автострады, машины, бензоколонки, будки сборщиков платы — все это материальные свидетельства цивилизации, с которой мне пришлось столкнуться лишь косвенно. Еще школьником наблюдал я за ребятами из предместий, наводнявших город по уик-эндам. Все они были в машинах, а рядом с ними сидели златовласые *шиксы* . Нет, не мой это мир, совсем не мой. Хоть и было им всего лет по шестнадцать-семнадцать, как и мне, они казались мне полубогами. С девяти до половины первого они раскатывали по побережью, а потом ехали обратно в Ларчмонт, Лоуренс, Верхний Монтклер, останавливались на какой-нибудь тихой тенистой улочке, перебирались со своими подругами на заднее сиденье, и в лунном свете мелькали белые бедра, спускались трусики, расстегивались молнии, следовали стремительные толчки, слышались стоны и покряхтыванья. А я тем временем ездил на метро в Вест-Сайд. Половое развитие по этой причине идет по-другому. В метро девицу не отдерешь. А как насчет того, чтобы заняться этим в лифте, поднимающемся

на пятнадцатый этаж дома на Риверсайд-Драйв? А что вы скажете насчет занятий сексом на залитой гудроном крыше какого-нибудь жилого дома, на высоте двухсот пятидесяти футов над Уэст-Энд авеню, восходя к оргазму в то время, как вокруг тебя расхаживают голуби, неодобрительно наблюдающие за твоей техникой, наперебой воркующие по поводу прыща на твоей заднице? Нет, расти в Манхэттене — это значит вести совсем другую жизнь, полную неудобств и ограничений, которые губят твою юность. В то время как долговязые бездельники имеют возможность резвиться в своих мотелях о четырех колесах. Конечно, у нас, у тех, кто уживается с недостатками городской жизни, взамен вырабатываются другие качества. У нас более богатое, более интересное духовное содержание, поневоле сформированное неблагоприятными условиями. Разбивая людей по категориям, я всегда отделяю водителей от неводителей. С одной стороны — оливеры и тимоти, с другой — эли. Нед, если по справедливости, принадлежит ко мне подобным — неводителям, мыслителям, книжникам — интровертам, мучающимся, обделенным пассажирам подземки. Но у него есть водительские права. Что ж, еще одно доказательство извращенности его натуры.

Как бы там ни было, я радовался возвращению в Нью-Йорк, пусть даже так, проездом по пути на «золотой запад». Это моя почва. Точнее, была бы моей, если бы мы миновали незнакомый Бронкс и въехали бы в Манхэттен. Книжные лавки, киоски с сосисками, музеи, киношки (мы, жители Нью-Йорка, не называем их «киношки», но *они* называют), толпы. Текстура, густота. Добро пожаловать в Кошерную Страну. Вид, греющий душу после месяцев, проведенных в плену патриархальной глуши Новой Англии с ее величественными деревьями, широкими проспектами, белыми конгрегационалистскими церквушками, голубоглазыми людьми. Как здорово сбежать от простоты Лиги Плюща вашего кампуса и снова вдохнуть задымленный воздух. Ночь в Манхэттене, потом — на запад. В пустыню. В лапы Хранителей Черепов. Я подумал о той разукрашенной странице старинной рукописи, архаичном шрифте, орнаментальной рамке с восемью ухмыляющимися черепами, каждый из которых заключен в квадратик с маленькими колоннами. Жизнь вечную тебе предлагаем. Насколько нереальной кажется мне сейчас вся эта затея с бессмертием, когда далеко на юго-западе сияют россыпью иллюминации канаты моста

Джорджа Вашингтона, правее внимание привлекают парящие буржуазные башни Ривердейла, а впереди — пропахшая чесноком манхэттенская реальность. Мгновение внезапного сомнения. Эта сумасшедшая хиджра[2].

Быть такими дураками, чтобы воспринимать все это всерьез, чтобы вложить хотя бы на цент психологического капитала в зыбкую фантазию. Лучше плюнуть на Аризону и вместо нее поехать во Флориду, Форт-Л оде рдей л, Дейтон-Бич. Вообразить всех тех томящихся, загорелых крошек, поджидающих искушенных парней с севера. И, как это уже не раз бывало, Нед словно прочел мои мысли. Окинув меня проницательным, вопрошающим взглядом, он тихо произнес:

— Никогда не умирать. Потрясающе! Но стоит ли за всем этим хоть что-нибудь реальное?

[2] Примечания: 2

Переселение Мухаммеда и его сторонников в 622 году из Мекки в Медину.

2. НЕД

Самое восхитительное, самое возбуждающее, наиболее выигрышно эстетически для меня то, что двое из нас должны погибнуть, а двое оставшихся будут изъяты из смертного существования. Таковы условия, предлагаемые Хранителями Черепов, если только допустить, что, во-первых, Эли точно перевел рукопись, а во-вторых, под тем, что он нам поведал, есть какая-то почва. Перевод, как я полагаю, должен быть верным — он чертовски педантичен в филологических материях, — но нельзя упускать вероятность фальсификации, задуманной, возможно, самим Эли. Не исключено, что все это вообще бессмыслица. Не затеял ли Эли с нами какую-нибудь изощренную игру? Нет сомнения, он способен на все, этот лукавый иудей, напичканный всякими хитрыми штучками из гетто, и сочинил всю эту затейливую историю, чтобы заманить трех злосчастных гоев навстречу их гибели, ритуальному жертвоприношению в пустыне. Сначала тощего, того, голубого, да вознесется меч сверкающий над его нечестивой задницей!

Скорее всего, я приписываю Эли гораздо больше изворотливости, чем есть на самом деле, отчасти наделяя его своей собственной болезненной, извращенной бисексуальной неуравновешенностью. У него вид искреннего, симпатичного еврейского юноши. В любой группе из четырех кандидатов, что решатся подвергнуться Испытанию, один должен добровольно выбрать смерть, а еще один — стать жертвой оставшихся двоих. Sic dixit liber calvariarum[3].

Смотри-ка, и я заговорил на языке Цезаря! Двое умирают, двое остаются жить: чудненькое равновесие, мандала о четырех углах. Я содрогаюсь от ужасного напряжения, находясь между небытием и бесконечностью. Для философа Эли это приключение представляет собой потустороннюю версию Паскалевой игры, экзистенциальная поездка «все-или-ничего». Для будущего художника Неда это проблема эстетическая, вопрос формы и содержания. Какая судьба выпадет на долю каждого из нас? Например, Оливеру, с его яростной крестьянской жаждой жизни: он вцепится в баклажку с вечностью, ему ничего иного не останется, он ни на мгновение не допустит

---

[3] Примечания: 3
Так сказано в «Книге Черепов» (лат.)

возможности оказаться среди тех, кто должен будет уйти, чтобы двое других продолжали жить. А Тимоти, естественно, вернется из Аризоны невредимым и неумирающим, радостно помахивая своей платиновой ложкой. Ему подобных выводят, чтобы господствовать. Как же он может позволить себе умереть, если его ждут его капиталы! Вы только представьте себе доход при шести процентах годовых за, допустим, восемнадцать миллионов лет. Да он завладеет Вселенной! Это же потрясающе! Так что эти двое — явные кандидаты на бессмертие. Мы с Эли, следовательно, должны уступить, добровольно или нет. Теперь быстренько раскидать исполнителей на остающиеся роли. Эли, конечно, станет тем, кого должны убить: ведь еврею суждено всегда быть жертвой, верно? Они будут нахваливать его за то, что он открыл врата жизни вечной, прокопавшись в затхлых архивах, и в соответствующий момент церемонии — раз! — схватят его и дадут ему небольшую затяжку «Циклона-В». Окончательное решение проблемы Эли. В результате чего я остаюсь тем, кто по своей воле должен пожертвовать собой. Решение это, как сказал Эли, процитировав соответствующий стих из нужной главы, должно быть истинно добровольным, про-

истекающим из чистого, незамутненного позыва отдать себя на заклание. В противном случае оно не приведет к высвобождению требуемых флюидов. Очень хорошо, джентльмены, к вашим услугам. Одно ваше слово — и я свершу свой лучший поступок.

Незамутненное желание — возможно, первое в жизни. Однако два условия, два ограничения прилагаются. Ты, Тимоти, должен запустить руку в свои уоллстритские миллионы и оплатить приличное издание моих стихов: красивый переплет, хорошая бумага, предисловие кого-то из критиков, знающих свое дело, уровня не ниже Триллинга, Одена, Лоуэлла. Если я умру за тебя, Тимоти, если я пролью кровь, чтобы ты жил вечно, ты сделаешь это? И Оливер: от вас, сэр, я тоже потребую услуги. Как сказал бы Эли, quid pro quo[4] есть sine qua non[5]. В последний день своей жизни я хотел бы уединиться с тобой на часок, мой дорогой и прекрасный друг. Я хочу распахать твою девственную почву. Стань, в конце концов, моим, возлюбленный Ол! Обещаю проявить великодушие и прибегнуть к вазелину.

---

[4] Примечания: 4
одно вместо другого (лат.).

[5] Примечания: 5
непременное условие (лат.).

О, твое гладкое, горячее, почти безволосое тело, твои тугие, атлетические ягодицы, твой сладкий нетронутый бутон. Для меня, Оливер. Для меня, для меня, для меня, все это для меня. Я отдам жизнь за тебя, если ты предоставишь мне на один-единственный вечерок свою задницу. Разве я не романтичен? Довольно деликатный выбор тебе предстоит, а? Решайся, Оливер, иначе сделка не состоится. Ничего, и ты согласишься. Пуританским нравом ты не отличаешься, да и человек ты практичный, всегда первый. Ты оценишь, насколько тебе выгодно отдаться. Ты получишь больше. Уж ублажи маленького голубого, Оливер. Иначе сделки не будет.

3. ТИМОТИ

Эли воспринимает все гораздо серьезнее, чем остальные. На мой взгляд, это вполне закономерно: именно он раскопал и организовал это предприятие. И как бы там ни было, именно он обладает теми полумистическими качествами, той тлеющей восточноевропейской первозданностью, что позволяет ему преодолевать нечто грандиозное, для тебя, по здравому рассуждению, чисто воображаемое. Мне кажется, что это типично еврейская черта, связанная с каббалой и прочими штуками, так же как и высокий интеллект, физическая трусость, любовь к деланию денег, но что, собственно говоря, я знаю о евреях? Посмотри-ка на сидящих в этой машине. Самый высокий интеллект у Оливера, в этом нет никаких сомнений. Нед — трус: на него достаточно посмотреть, чтобы он съежился от страха. Я — человек денежный, хотя, Бог свидетель, я палец о палец не ударил, чтобы их заработать. Вот они, так называемые еврейские черты. А мистицизм? Мистик ли Эли? Возможно, ему просто не хочется умирать. И что же в этом мистического?

Нет, не в этом. Но когда речь заходит о том, чтобы поверить в существование этого культа изгнанников из Вавилона, Египта или бессмертных еще откуда-нибудь, поверить… Что стоит тебе только прийти к ним, произнести нужные слова, и тогда они одарят тебя бессмертием… о, Господи! Да кто на это клюнет? Эли. Пожалуй, и Оливер. Нед? Нет, только не Нед. Нед не верит ни во что, даже в самого себя. И не я. Только не я, могу поспорить на свою задницу.

Зачем же я тогда еду?

Как я и сказал Эли: просто в Аризоне в это время теплее. А еще мне нравится путешествовать. Кроме того, мне кажется, что будет довольно забавно наблюдать за развитием событий, посмотреть, как мои соседи по комнате станут сновать по округе в поисках своей судьбы на столовых горах. Зачем вообще учиться в колледже, если избегать интересного опыта и не расширять свои знания в области природы человеческой заодно с приятным времяпровождением? Я еду туда не для того, чтобы изучать астрономию или геологию, но наблюдать за себе подобными существами, изображающими из себя идиотов. Тут тебе и образование, тут тебе и развлечение! Как сказал отец, направляя меня на учебу, предварительно

напомнив, что я являюсь представителем восьмого поколения учившихся в этом заведении: «Никогда не забывай одну вещь, Тимоти: истинный предмет изучения человечества — сам человек. Это сказал Сократ три тысячи лет тому назад, и с тех пор эта мысль не утратила своей непреходящей ценности». Кстати, как мне удалось выяснить уже на втором курсе, на самом деле эти слова произнес один папа римский в восемнадцатом веке, ну да неважно. Ты учишься, наблюдая за другими, особенно если упустил свой шанс закалить характер в испытаниях, слишком хорошо изучив своих предков. Видел бы меня сейчас папаша в одной машине с голубым, евреем и деревенским увальнем. Полагаю, он бы одобрил мои действия, поскольку я не забываю, что я лучше, чем они.

Нед был первым, кому сказал Эли. Я видел, как они кучковались и шушукались. Нед смеялся. «Хватит меня дурачить, парень», — повторял он, а Эли при этом краснел. Нед и Эли очень близки, по причине того, как мне кажется, что оба тщедушны и принадлежат к угнетаемым меньшинствам. С самого начала было ясно, что как бы мы четверо ни группировались, они вдвоем всегда будут против нас с Оливером. Двое ин-

теллектуалов против двух качков, грубо говоря. Двое голубых против двух… впрочем, нет, Эли не голубой, хоть дядя Кларк и утверждает, что все евреи в глубине души гомосексуалисты, даже если об этом и не подозревают. Но Эли *выглядит* голубым из-за своей шепелявости и походки. Справедливости ради надо сказать, что он похож на голубого даже больше, чем Нед. Может быть, Эли и за девицами так приударяет, чтобы скрыть нечто? Как бы там ни было, Эли и Нед шуршали бумажками в перешептывались. А потом они посвятили Оливера. «Не хотите ли в мне рассказать, — поинтересовался тогда я, — что это вы там такое обсуждаете?» Думаю, они получили удовольствие, исключив меня из числа посвященных, давая мне почувствовать, каково быть гражданином второго сорта. А может быть, они просто решили, что я подниму их на смех. Но в конце концов раскололись. Оливер взял на себя роль посланника.

— Какие у тебя планы на Пасху? — спросил он.

— На Бермуды, может, подамся. Или во Флориду, в Нассау. В общем-то я об этом еще не думал.

— А как насчет Аризоны?

— А чего там хорошего?

— Оливер сделал глубокий вдох.

— Эли штудировал в библиотеке кое-какие редкие рукописи, — сказал он с глуповатым и неспокойным видом, — и наткнулся на одну штуковину под названием «Книга Черепов», которая лежит здесь уже лет пятьдесят, в никто ее до сих пор не переводил. Эли проверил еще кое-что и теперь он считает…

Что Хранители Черепов существуют в действительности и что они допустят нас к тому, что имеют. Эли, Нед и Оливер в любом случае собираются съездить туда и осмотреться. Меня они тоже приглашают. Почему? Из-за моих денег? За красивые глазки? На самом деле потому, что кандидаты допускаются лишь группами по четыре человека, а поскольку мы живем в одной комнате, то все вполне логично.

И так далее. Я сказал, что согласен, черт с ними. В моем возрасте папаша отправился в Бельгийское Конго на поиски урановых рудников. Ничего не нашел, но зато развлекся. Я тоже имею право побыть джентльменом удачи. Еду, сказал я. И выбросил все из головы до конца экзаменов. Лишь после сессии Эли просветил меня насчет некоторых правил этой игры. Максимум двое кандидатов из каждой четверки будут жить вечно, а остальным двоим придется умереть.

Небольшой налет мелодрамы.

— Теперь, когда ты знаешь, каков риск, можешь отказаться, если пожелаешь.

Загнал меня в угол, пытаясь выявить желтые струйки в голубой крови. Я рассмеялся ему в лицо.

— Не такие уж плохие шансы, — заметил я.

4. НЕД

Короткие наблюдения перед тем, как эта поездка изменит нас навсегда, поскольку она нас обязательно изменит. Среда, вечер. Число? Какое-то марта, на подъезде к Нью-Йорку.

ТИМОТИ. Розово-золотистый. Двухдюймовый слой плотного жира, покрывающего толстые пластины мышц. Крупный, массивный, сойдет за защитника, если займется футболом. Голубые англиканские глаза, всегда насмешливые. Укладывает тебя на лопатки одной лишь дружелюбной улыбкой. Манерность американской аристократии. Носит короткую армейскую стрижку в наше время, желая показать миру, что он сам по себе. Из кожи вон лезет, чтобы казаться ленивым и грубым. Большой кот, сонный лев. Берегись. Львы умнее, чем кажутся, и двигаются быстрее, чем хотелось бы их жертвам.

ЭЛИ. Черно-белый. Хрупкий, худощавый. Глаза-бусинки. На дюйм выше меня, но все равно невысокий. Тонкие чувственные губы, сильный подбородок, вьющаяся шевелюра из ассирийских

завитушек. Кожа белая-пребелая: он никогда не загорал. Через час после бритья ему снова нужно бриться. Густой волосяной покров на груди и бедрах; он имел бы вполне мужественный вид, не будь он таким неосновательным. С девицами ему не везло. Я бы им занялся, да не в моем он вкусе — слишком уж похож на меня самого. Общее впечатление уязвимости. Быстрый цепкий ум, не настолько глубокий, как ему кажется, но не дурак. В основе своей — средневековый схоласт.

Я. Желто-зеленый. Маленький шустрый эльф с неуклюжим нутром под этой шустростью. Мягкие спутанные золотисто-коричневые волосы торчат нимбом. Лоб высокий и становится все выше, черт бы его по-

брал. Ты похож на фигуру с картины Фра Анджелико, как сказали мне две разные девчонки в течение одной недели; должно быть, они ходят на одни и те же лекции по искусствоведению. Я определенно похож на священника. Так всегда говаривала моя матушка: она видела меня кротким монсеньором, исцеляющим муки душевные. Извини, мамочка. Папа римский такого не захочет. Девицы — другое дело: они интуитивно чувствуют, что я голубой, и тем не менее предлагают себя. Зря стараются. Пишу неплохие стихи и

паршивые рассказы. Хватило б духу, взялся бы за роман. Предполагаю, что умру молодым. Чтобы держать марку, должен постоянно помышлять о самоубийстве.

ОЛИВЕР. Розово-золотистый, вроде Тимоти, но по-другому, совсем иначе! Тимоти — грубый, основательный столб; Оливер — свечка. Невероятные лицо и тело кинозвезды: шесть футов три дюйма, широченные плечи, узкие бедра. Идеальные пропорции. Тип сильного, молчаливого человека. Красив, знает об этом и плевать хотел на свою красоту. Мальчик с канзасской фермы, черты открытые и простодушные. Очень светлые, почти белые, длинные волосы. Со спины похож на крупную девушку, если не считать талии. Мышцы у него не такие рельефные, как у Тимоти: они у него плоские и длинные. Никто не заблуждается насчет деревенской флегматичности Оливера. За мягкостью взгляда его холодных голубых глаз кроется неукротимый дух. То, что у него творится в голове, можно сравнить с бурлящей городской жизнью Нью-Йорка, и планы он вынашивает честолюбивые. И все же от него исходят волны какого-то благородства. Если бы я только мог очиститься в этом ослепительном сиянии. Если б я только мог.

НАШ ВОЗРАСТ. Тимоти в феврале исполнялось 22 года. Мне — 21, 5. Оливеру в январе стукнул 21. Эли — 20, 5.

Тимоти: Рыба.

Я: Скорпион.

Оливер: Козерог.

Эли: Дева.

5. ОЛИВЕР

Я предпочитаю сам вести машину. За рулем я просидел десять и двенадцать часов подряд. Я понимаю так, что мне гораздо безопаснее вести самому, чем доверять это другому, поскольку никто больше меня не заинтересован в сохранении моей жизни. Некоторые водители, как мне кажется, просто призывают смерть — ради острых ощущений или, как мог бы сказать Нед, ради эстетики смерти. К черту все это. На всем белом свете для меня нет ничего более священного, чем жизнь Оливера Маршалла, и я хочу максимально контролировать ситуации, когда речь идет о жизни и смерти. Поэтому я стараюсь как можно дольше вести машину. До сих пор вел только я, хоть это и машина Тимоти. Тимоти — другое дело: ему лучше, чтобы его везли, а не вести самому. Полагаю, что это проявление классового сознания. Эли вообще не умеет водить. Так что остаемся только мы с Недом. Нед да я всю дорогу до Аризоны, а изредка за рулем посидит и Тимоти. По правде говоря, меня пугает одна мысль о том, чтобы доверить свою шкуру Неду. А не оста-

вить ли все как есть: нога на газе, и все дальше и дальше в ночь? Завтра во второй половине дня мы могли бы добраться до Чикаго. Поздно ночью — до Сент-Луиса. До Аризоны — послезавтра. И начнем рыскать в поисках Дома Черепов Эли. Я хочу стать добровольцем на бессмертие. Я готов, я полностью настроился, я безоговорочно верю Эли. Боже, я верю! Я хочу верить. Передо мной открывается все будущее. Я увижу звезды. Я буду странствовать между мирами. Капитан Будущее из Канзаса. А эти психи хотят сначала остановиться в Нью-Йорке на ночь, провести вечер в баре! Их ждет вечность, а они, видите ли, не могут обойтись без «Максвелле Плам»! Хотел бы я им сказать, что я о них думаю. Но нужно быть терпеливым. Не хочу, чтобы они надо мной смеялись. Не хочу, чтобы они подумали, будто я потерял голову из-за Аризоны и этих черепов. Первая авеню, приехали.

6. ЭЛИ

Мы подвалили к одному заведению на Шестьдесят Седьмой улице. Открылось оно на Рождество, и один из однокурсников Тимоти там побывал, а потом расписал, не жалея красок. Тимоти настоял поехать именно туда, и мы пошли ему навстречу. Это местечко носило название «Ранчо», что вполне его характеризовало. Интерьер был простоват, а клиентура крепко смахивала на школьную футбольную команду из пригорода в окружении девиц в соотношении примерно один к трем. Мы вошли сплоченной фалангой, но наш строй из четырех человек тут же распался, как только мы миновали вход. Объятый вожделением Тимоти попер в сторону бара, как возбужденный мускусный овцебык, однако его плотное тело замедлило ход, когда на пятом шаге он разглядел, что здесь не та обстановка, что ему нужна. Оливер, в некоторых отношениях наиболее привередливый из всех нас, не стал даже заходить: он сразу же понял, что это место не для него, и остался в дверях дожидаться нашего ухода. Я прошел до середины зала, наткнулся на стену

хриплого рева, от которого вибрировал каждый нерв, и, совершенно отключившись, отступил в относительное затишье гардеробной ниши. Нед рванул прямиком в сортир. Я по наивности своей подумал, что ему просто приспичило. Мгновение спустя ко мне подвалил Тимоти с бокалом пива в руке и сказал:

— Давай выметаться отсюда. Нед где?

— В клозете, — ответил я.

Тимоти ругнулся и отправился вытаскивать Неда. Он вышел почти сразу же вместе с надутым Недом, сопровождаемым подобием Оливера, но дюйма на три повыше, лет шестнадцати, эдаким юным Аполлоном с патлами до плеч и с бледно-лиловой повязкой на голове. А Нед-то наш шустряк. Пять секунд на оценку обстановки, еще тридцать секунд на поиски этого лба и торг. Теперь Тимоти действовал в своем стиле, развеяв мечты Неда о роскошном пореве в одном из притонов Ист-Виллидж. На прихоти Неда у нас сейчас, естественно, времени не было. Тимоти что-то коротко бросил находке Неда, Нед с кислым видом что-то сказал Тимоти, Аполлон отвалил неуклюжей походкой, и мы вчетвером убрались оттуда. Через квартал, к гипотетически более надежным заведениям, к «Пластиковой

Пещере», где Тимоти и Оливер несколько раз бывали в прошлом году. Футуристический интерьер, все отделано толстыми листами волнистого блестящего пластика, официанты, облаченные в аляповатую форму, выдержанную в научно-фантастическом стиле, регулярные вспышки стробоскопа; примерно каждые десять минут из полусотни динамиков вырываются оглушительные звуки тяжелого рока. Место больше похоже на дискотеку, чем на бар для одиночек, однако со своими функциями справляется. Его уважают чуваки из Колумбийского и Барнарда, бывают здесь в девицы из Хантера; школьникам с самого начала дали понять, что, они здесь нежелательны. Для меня это чуждая среда. Нет у меня тяги к современному шику: я предпочитаю посидеть в кафе, попить кофейку со сливками, поболтать про всякие умные вещи, а не толкаться в баре или на дискотеке. Рильке вместо рока. Плотин вместо пластика. «Старик, да ты прямо из пятьдесят седьмого года!» — сказал мне как-то Тимоти. Это Тимоти-то, со своей республиканской стрижкой! Главная задача вечера — найти пристанище на ночь, то есть снять девиц с квартирой, способной вместить четверых парней. Этим займется Тимоти, а если он обнаружит достойную поживу,

тогда можно спускать с поводка Оливера. Это был их мир. Я же, пожалуй, ощущал бы себя куда уместней на мессе в католическом храме. Для меня это было каким-то Занзибаром, а для Неда, как я могу предположить, Тимбукту, хотя со своей хамелеоновской приспособляемостью он и здесь не растерялся. С учетом того, что

Тимоти не дал ему последовать его естественным позывам, он решил вывесить знамя гетеросексуальности и в своей обычной извращенной манере снял наименее привлекательную из имевшихся в наличии девиц: массивную телку с объемистыми грудями-ядрами под свободным красным свитером. Сеанс обольщения он повел на высоких оборотах, пойдя на приступ, как голубой Раскольников, рассчитывающий на то, что она спасет его от кошмара педерастической жизни. В то время как он что-то мурлыкал ей на ухо, она не переставала краснеть, облизывать губы и трогать распятие — да, распятие, — висевшее между ее исполинских сисек. Прямо какая-то Салли Мак-Налли, только что вышедшая из школы матушки Кабрини и лишь недавно расставшаяся с невинностью — а это стоило ей немалых усилий, — и вот теперь кто-то, хвала всем святым, действительно пытается ее снять!

Без тени сомнения Нед ступил на скользкий путь развратного священника, испорченного иезуита, распространяя ауру разложения и романтического страха католического толка. Доведет ли он дело до конца? Да, доведет. Будучи поэтом в поисках опыта, он частенько обращал взор в сторону противоположного пола, всегда соблазняя лишь остатки прекрасной половины: однорукую девушку, девицу с половиной челюсти, каланчу в два раза его выше и т. д. и т. п. Таковы понятия Неда о черном юморе. По правде говоря, голубой-то он голубой, но девиц у него перебывало побольше моего, хотя его победы и добычей-то настоящей не назовешь, а так — дурацкой добычей. Он провозглашал отсутствие наслаждения в самом совокуплении: удовольствие, мол, ему доставляет лишь жестокая игра в преследование. Смотрите, как бы говорит он, вы не дали мне поиметь Алкивиада, тогда я займусь Ксантиппой. Он высмеивал весь мир нормальных людей посредством своего стремления к деформациям и разным отклонениям.

Некоторое время я занимался изучением его методики. Слишком много времени трачу на наблюдение. Надо бы уйти и побродить, чтобы тут не толкаться. Раз уж настойчивость в интеллект

являются здесь модным товаром; то почему бы тебе не торганут ими с небольшим наваром? Ты что, Эли, считаешь себя выше всего плотского? Да будет тебе: просто ты неловок с девушками. Взяв себе виски с содовой (снова пахнуло 1957 годом! Кто нынче пьет напитки разбавленными?), я пошел от бара. Уж если неуклюж, то до конца. Я столкнулся с невысокой темноволосой девушкой, выплеснув половину виски.

— Ой, прошу прощения, — сказали мы в один голос.

У нее был вид испуганной лани. Худенькая, тонкая в кости, не больше пяти футов ростом, с блестящими темными глазами, с выступающим носом (*Шайнех майделех!* Соплеменница!). Сквозь полупрозрачную бирюзовую блузку просвечивает розовый лифчик, что служит приметой некоторой терпимости к современным нравам. При столкновении наших застенчивостей между нами проскочила искра: я ощутил жар в паху и на щеках и перехватил исходящее от нее интенсивное тепло взаимного возгорания. Иногда это наваливается на тебя настолько безошибочно, что ты даже удивляешься, почему все вокруг не проявляют ликования. Мы отыскали крошечный столик и торопливо пробормотали слова взаим-

ного представления. Мики Бернштейн — Эли Штейнфельд. Эли, Мики. А что такая красивая девушка делает в таком месте?

Второкурсница из Хантера, специальность — управление, семья в Кью-Гарденс, сама живет с четырьмя другими девушками на углу Третьей и Семидесятой. Я решил было, что нашел пристанище на всех — подумать только, недотепа Эли зарабатывает очко! — но быстро понял, что квартирка состоит всего из двух комнат и кухоньки и не годится для такой большой компании. Она поторопилась сообщить, что редко посещает злачные места, почти не ходит, собственно говоря, но сегодня ее вытащила соседка по комнате, чтобы отметить начало пасхальных каникул — тут же была продемонстрирована соседка, высокая тощая дылда с угреватой физиономией, откровенно заигрывавшая с долговязым типом с лохматой бородой и в цветастой рубахе в духе хиппи образца 1968 года, — и вот она здесь, оглушенная всем этим шумом, и не буду ли я столь любезен взять ей вишневую коку? Учтивый землянин Штейнфельд поймал пролетавшую марсианку и сделал заказ. Один доллар, пожалуйста. Ого! Мики спросила, что я изучаю. Попался. Ладно, зубрилка несчастный, карты на стол.

— Равнесредвевековую филологию, — ответил я. — Распад латыни на романские языки. Я мог бы спеть вам непристойные баллады на провансальском, если бы умел петь.

Она расхохоталась, несколько громковато.

— Ой, да у меня тоже ужасный голос! — воскликнула она. — Но если хотите, можете продекламировать хоть одну.

Она застенчиво взяла меня за руку, поскольку я был слишком ученым, чтобы сделать это первым. И я начал, почти выкрикивая слова сквозь окружающий грохот:

Can vei la luzeta mover
De jot sas alas control rai,
Qoe 3. oblid. Es laissa chaser
Per la doussor c. al cor li vai…
t

И так далее. Я совершенно заболтал ее.

— Это было очень неприлично? — спросила она наконец.

— Вовсе нет. Это нежная любовная песня, Бернард де Вентадорн, двенадцатый век.

— Вы так чудесно декламировали.

Я перевел прочитанное и ощутил исходящие от нее волны преклонения. «Бери меня, владей мной», — телепатировала она. По моим под-

счетам, она совокуплялась раз девять с двумя разными мужчинами и все еще ожидала с душевным трепетом первого оргазма, одновременно переживая по поводу своей, возможно, несколько скоропалительной уступчивости. Мне хотелось показать все, на что я способен, подуть ей в ушко, нашептывая жемчужинки провансальской поэзии. Но как отсюда выбраться? Куда мы пойдем? В отчаянии я огляделся. Тимоти одной рукой обнимал девушку ослепительной красоты с потоком распущенных каштановых волос. Оливер подцепил двух птичек, брюнетку и блондинку: шарм деревенского парня в действии. Нед попрежнему обхаживал свою толстуху. Возможно, у кого-нибудь из них что-нибудь да обломится — какая-нибудь квартирка поблизости с комнатами на всех. Я снова повернулся к Мики, и она сказала:

— В субботу вечером у нас небольшая вечеринка. Будут несколько толковых музыкантов… классиков, я имею в виду, и если у вас есть время, вы могли бы…

— В субботу вечером я буду в Аризоне.

— В Аризоне! Так вы *оттуда* ?

— Я с Манхэттена.

— Почему же тогда… то есть я еще не слышала,

чтобы на Пасху ездили в Аризону. Это что-то новое? — Мелькнула простодушная улыбка. — Прошу прощения… У вас там девушка?

— Ничего подобного.

Она задергалась, не имея желания совать нос в чужие дела, но не зная, как остановить дознание. Последовал неизбежный вопрос:

— Зачем же тогда вы едете?

И тут я остановился. Что я мог ответить? В течение пятнадцати минут я играл вполне обычную роль: озабоченный старшекурсник на промысле, бар в Ист-Сайде, робкая, но вполне доступная девица, стоит только чуток разогреть ее эзотерической поэзией, когда я вас снова увижу, скоротечный пасхальный роман, спасибо за все, прощай. Знакомая петрушка. Но ее вопрос открыл западню у меня под ногами и бросил меня в тот, другой, более темный мир, мир фантазии, мир грез, где серьезные молодые люди раздумывают над возможностью навсегда избавиться от смерти, где желторотые школяры заставляют себя поверить в то, что они наткнулись на магические рукописи, раскрывающие тайны древних мистических культов. Да, мог я ^сказать, мы собираемся на поиски тайной обители Братства Черепов, мы, видите ли, надеемся убедить

Хранителей, что мы достойны подвергнуться Испытанию, и, естественно, если нас примут, один должен с радостью отдать жизнь за других, а еще одному придется быть убитым, во мы готовы к этим превратностям судьбы, чтобы двое счастливчиков никогда не умирали. Благодарю вас, Г. Райдер Хаггард: именно так. И вновь ко мне пришло ощущение резкого несоответствия, несовместимости, стоило лишь сопоставить наше нынешнее манхэттенское окружение и мои невероятные аризонские грезы. Смотри, мог я сказать, необходимо совершить акт веры, мистического приятия, чтобы доказать себе, что жизнь состоит не только из дискотек, подземки, модных магазинов и аудиторий. Ты должен поверить, что существуют необъяснимые силы. Астрологией не увлекаешься? Увлекаешься, конечно; и тебе известно, что об этом думает «Нью-Йорк тайме». Так что продвинься в своем восприятии чуть-чуть подальше, и дело сделано. Оставь свой робкий «ультрасовременный» дух отрицания перед невероятным и допусти возможность существования Братства, возможность существования Испытания, возможность существования жизни вечной. Как можешь ты не верить, сначала не проверив все? Можешь ли ты поставить на кон

свою правоту? И вот мы едем в Аризону. Нас четверо: мясистый здоровяк с армейской стрижкой, вон тот греческий бог, парень нервного вида, что беседует с толстухой, и я. И хоть некоторые из нас обладают большей верой, чем другие, но нет среди нас ни одного, кто по крайней мере отчасти не верит в «Книгу Черепов». Паскаль избрал веру, потому что обстоятельства складывались не в пользу неверующего, который мог бы лишиться Рая, отвернувшись от церкви; так же и мы не стесняемся иметь в течение недели дурацкий вид, потому что у вас есть хотя бы надежда добыть нечто, не имеющее цены, а в худшем случае наши потери не превышают стоимости бензина.

Но я ничего такого не сказал Мики Бернштейн. Музыка звучала слишком громко, и, как бы там ни было, мы четверо дали друг другу страшную клятву никому ничего не говорить. Вместо всего этого я сказал:

— Почему в Аризону? Наверное, потому, что мы балдеем от кактусов. Вдобавок там тепло в марте.

— Во Флориде тоже тепло.

— Зато там нет кактусов.

7. ТИМОТИ

Мне потребовался час, чтобы подыскать нужную девицу и обо всем договориться. Звали ее Бесс: грудастая крошка из Орегона, живет с четырьмя другими первокурсницами из Барнарда в необъятных апартаментах на Риверсайд-Драйв. Три из четырех девушек разъехались на каникулы по домам; четвертая же сидела в углу, благосклонно внимая россказням загорелого парня лет двадцати пяти, похожего на персонаж с рекламного объявления. Отлично. Я объяснил, что сегодня остановился в Нью-Йорке со своими коллегами по дороге в Аризону и рассчитываю завалиться в какое-нибудь клевое место на ночлег.

— Надеюсь, нам удастся это устроить, — сказала она.

Чудненько. Теперь остается лишь всех собрать. Оливер трепался с худосочной малышкой со слишком яркими глазами — возможно, от травки; оторвав его от этого занятия, я растолковал ему что к чему и переключил на Джуди, соседку Бесс. Девчушка как минимум, из Небраски. Рекламный красавчик скоро смотался в сортир,

а Джуди с Оливером повели разговор про корм для свиней или что-то в том же духе. Теперь я принялся за Неда. Из имеющегося ассортимента этот маленький извращенец снял девицу. Время от времени он отмачивает такие штуки, как я понимаю, ради того, чтобы сунуть нос в дела нормальных. Эта была полный отпад: огромные ноздри, исполинские сиськи, гора мяса.

— Сматываемся, — сказал я ему. — Забирай ее с собой, если хочешь.

Потом я отыскал Эли. Должно быть, идет Общенациональная Неделя Гетеросексуальности: даже Эли преуспевал. Худая, темная, совсем бесплотная, быстрая нервная улыбка. Должно быть, ее ошарашило, что Эли живет в одной комнате с эдаким надутым *шегиц* вроде меня.

— Есть номер в гостинице, — сообщил я ему. — Пошли.

Он был готов целовать мои ботинки.

Мы ввосьмером забились в мою машину — даже вдевятером, если добычу Неда считать за двоих. За руль сел я. Знакомствам, казалось, не будет конца: Джуди, Мики, Мэри, Бесс; Эли, Тимоти, Оливер, Нед; Джуди, Тимоти; Мики, Нед; Мэри, Оливер; Бесс, Эли; Мики, Джуди; Мэри, Бесс; Оливер, Джуди; Эли, Мэри — о, Господи.

Пошел дождь, холодная морось почти на точке замерзания. Когда мы въехали в Центральный парк, какая-то ветхая машина, примерно в сотне ярдов перед нами, вошла в занос, боком слетела с дороги и врезалась в громадное дерево; машина развалилась на части, и из нее вылетело не меньше дюжины людей, рассыпавшихся в разные стороны. Я резко тормознул, поскольку кое-кто из жертв оказался буквально у меня на дороге. Разбитые головы, свернутые шеи, стоны на испанском языке. Остановив машину, я сказал Оливеру:

— Надо выйти посмотреть, можем ли мы чем-нибудь помочь.

Вид у Оливера был оцепенелый. Есть у него такое в отношении к смерти: ему становится плохо, даже если он белку переедет. А возня с кучей покалеченных пуэрториканцев способна повергнуть нашего твердокаменного будущего медика в шоковое состояние. Когда он начал что-то бормотать, из-за его плеча высунулась Джуди из Небраски и заговорила с неподдельным ужасом:

— Нет! Поезжай, Тим!

— Здесь люди пострадали, — возразил я.

— Через пару минут тут будет полиция. Они увидят восемь человек в машине и обыщут нас

до того, как заняться теми. А у меня травка, Тим, травка! Все влипнем!

Она почти потеряла голову от страха. Черт побери, не можем же мы потратить половину каникул на разбирательство с полицией лишь из-за того, что какая-то дура решила таскать при себе свои запасы. Я нажал педаль и осторожно объехал погибших и умирающих. Неужто копы и впрямь задержались бы для поисков травки, не обращая внимания на усеявшие землю тела? Я не мог в это поверить, но, быть мо-

жег, лишь потому, что привык думать, будто полиция всегда на моей стороне; вполне вероятно, что Джуди как раз права. Паранойя нынче заразна. Так или иначе, я погнал дальше, а при въезде в западную часть Центрального парка молчавший доселе Оливер вдруг разродился мыслью о том, что неправильно было уезжать с места аварии.

— Проявление морали после совершения поступка хуже, чем полное отсутствие морали, — изрек Эли сзади.

— Браво! — воскликнул Нед.

До чего ж однообразны эти двое.

Бесс и Джуди жили в районе Сотой улицы в громадном ветхом жилом доме, который году

в двадцатом выглядел, должно быть, дворцом. Квартира их представляла из себя бесконечный ряд комнат с высокими потолками, аляповатыми карнизами, потрескавшейся бугристой штукатуркой, на которую в течение столетий накладывали заплату за заплатой. Примерно пятнадцатый этаж: роскошный вид на убожество Нью-Джерси. Бесс выложила стопку пластинок — Сеговия, «Роллинги», «Сержант Пеппер», Бетховен и прочее — и притащила пузырь «Риппл». Джуди извлекла порцию, из-за которой так перепугалась в парке: кучка гашиша не больше моего носа.

— Ты что, таскаешь это на счастье? — поинтересовался я, но выяснилось, что она раздобыла наркотик в «Пластиковой Пещере». Закрутка пошла по кругу — Оливер, как обычно, сачканул: по-моему, он считает, что любые наркотики загрязняют бесценные соки его организма. Недова ирландская прачка тоже воздержалась — еще и к этому вдобавок она не была готова.

— Бери, — услышал я голос обращавшегося к ней Неда. — Это поможет тебе сбросить вес.

Вид она имела перепуганный, будто ожидала, что вот-вот в окошко заявится сам Иисус собственной персоной и вырвет ее бессмертную душу из

трепетного грешного тела. Все остальные поймали кайф и разбрелись по разным комнатам.

Посреди ночи я ощутил некоторое давление в районе мочевого пузыря я пошел искать сортир в этом лабиринте коридоров и дверей. Повсюду кучи народу. Из одной комнаты доносятся страстные звуки, ритмичное поскрипывание кроватных пружин: наверняка это бычина Оливер в шестой или седьмой раз за ночь ублажает свою Джуди. После того как он с ней закончит, она неделю будет ходить враскоряку. Из другой комнаты слышится похрапывание и посвистывание: ей-Богу, это экстравагантная Недова хрюшка погрузилась в сон. Нед спал в холле. «Ему много не надо», — подумал я. В конце концов санузел я обнаружил, но его занимали Эли и Мики, вместе принимавшие душ. Не хотелось мешать, но чего тут такого. Мики приняла изящную греческую позу, прикрыв правой рукой черную растительность, а левой — свои малозаметные выпуклости. Я бы дал ей лет четырнадцать, а то и меньше.

— Прошу прощения, — сказал я, попятившись задом.

Голый Эли, с которого капала вода, вышел вслед за мной. Я сказал ему:

— Не пыли, я не собирался нарушать твое уеди-

нение.

Но дело было не в этом. Он спросил, не можем ли мы взять с собой на оставшуюся часть поездки пятого пассажира.

— Ее, что ли?

Он кивнул. Любовь с первого взгляда: они подошли друг другу» они обрели подлинное счастье друг в друге. Теперь ему захотелось взять ее с собой.

— Господи, — возмутился я, близкий к тому, чтобы разбудить всех остальных, — так ты рассказал ей о…

— Нет. Только то, что мы едем в Аризону.

— А что будет, когда мы туда доберемся? Ты и ее хочешь взять с нами в дом Черепов?

Так далеко его мысли не залетали. Ослепленный ее скромными прелестями, наш выдающийся Эли видел не дальше очередной случки. Нет, это, конечно, невозможно. Если бы мероприятие задумывалось как секс-тур, я бы взял Марго, а Оливер — Лу-Энн. Мы решили воздерживаться, не считая, впрочем, того, что попадется по дороге, и Эли должен бы согласиться на это. Именно он требовал, чтобы мы выехали закрытой, изолированной от посторонних четверкой. Теперь же Эли пошел на попятный.

— Я оставил бы ее в каком-нибудь мотеле в Финиксе, пока мы будем в пустыне, — настаивал он. — Ей совсем не обязательно знать, зачем мы туда едем.

— Нет.

— Но, Тимоти, неужели это должно быть такой страшной тайной?

— У тебя что, крыша поехала? Разве не ты заставлял нас чуть ли не кровью клясться, чтобы про «Книгу Черепов» никому ни звука?

— Ты кричишь. Они все услышат.

— Правильно. Пусть слышат. Тебе же этого хочется? Чтобы эти крошки узнали о твоем прожекте Фу-Манчу. И тем не менее ты готов ее во все посвятить. О чем ты думаешь, Эли?

— Тогда, возможно, мне придется забыть про Аризону, — сказал он.

Мне захотелось взять его за грудки и тряхнуть как следует. Забыть про Аризону? Он все организовал. Он вовлек в это дело необходимых троих парней. Он часы напролет убеждал нас, насколько важно открыть души навстречу необъяснимому, невероятному, фантастическому. Он побуждал нас оставить голый практицизм и эмпиризм, чтобы исполнить акт веры, и так далее и тому подобное. И стоило лишь сейчас обольсти-

тельной дщери Израилевой раскинуть перед ним ноги, как ему моментально захотелось забросить все только ради того, чтобы провести Пасху, держась с ней за ручки в разных провинциальных очагах культуры. Ладно, плевать. Он втравил нас в это, и, если даже полностью опустить вопрос о степени нашей веры в этот сверхъестественный культ бессмертия, мы не позволим ему так просто от нас отделаться. В «Книге Черепов» говорится, что кандидаты должны являться по четыре. Я сказал, что мы не дадим ему уйти в кусты. Он долго молчал. Кадык у него так и ходил: признак Великого Душевного Смятения. Любовь против Жизни Вечной.

— Ты сможешь с ней увидеться, когда мы будем возвращаться, — напомнил я. — Если предположить, что ты будешь одним из тех, кто вернется.

Он стоял, терзаемый одной из своих экзистенциальных дилемм. Дверь открылась, и из ванной выглянула Мики, целомудренно обернувшаяся полотенцем.

— Иди, — сказал я. — Дама ждет. Утром увидимся.

Где-то за кухней я нашел еще один нужник, опорожнился и побрел в потемках на ощупь обратно к Бесс, встретившей меня легким похра-

пыванием. Поймав меня за уши, она притянула мою голову ко впадине между упругих покачивающихся буферов. Большие груди, говорил отец, когда мне было пятнадцать, довольно вульгарны: джентльмен выбирает даму, исходя из других критериев. Все верно, папочка, но из них получаются такие клевые подушки. Мы с Бесс в последний раз исполнили пружинный обряд. Я заснул. В шесть утра Оливер, уже полностью одетый, разбудил меня. Нед и Эли тоже встали и оделись. Все девицы еще спали. Мы молча позавтракали булочками с кофе и уже в семь отправились в путь, все четверо: по Риверсайд-Драйв до моста Джорджа Вашингтона, через мост в Джерси, на запад к шоссе номер 80. Вел Оливер. Железный старик.

8. ОЛИВЕР

Не езди, говорила Лу-Энн, что бы это ни было, не езди, не связывайся, я и слышать об этом не хочу. А я в общем-то не много ей и сказал. Обрисовал лишь внешнюю сторону: мол, есть в Аризоне одна секта, что-то вроде монастыря, пожалуй, и Эли считает, визит туда будет иметь для нас четверых величайшую духовную ценность. Мы можем многое получить от этой поездки, сказал я ей. Ее непосредственной реакцией был страх. Синдром домохозяйки: если ты не знаешь, что это, то и близко не подходи. Испугалась, замкнулась. Девчонка-то она отличная, да уж больно предсказуемая. Скажи я ей насчет бессмертия, может, она отреагировала бы иначе. Но я, естественно, поклялся не выдавать это дело ни словом, ни духом. Да и в любом случае даже бессмертие напугало бы Лу-Энн. Не езди, сказала бы она тогда, во всем этом какая-то ловушка, это закончится чем-нибудь ужасным. Это страшно, таинственно и пугающе, не по Господней воле происходят такие вещи. Каждый из нас должен отдать жизнь Господу нашему. Бетховен умер. Иисус умер. Пре-

зидент Эйзенхауэр умер. Неужели, Оливер, ты считаешь, что должен быть избавлен от смерти, если им пришлось уйти? Не впутывайся в это, пожалуйста.

Смерть. Да что знает о смерти эта бедная простушка Лу-Энн? Даже ее дедушки с бабушками еще живы. Смерть для нее — некая абстракция, нечто случившееся с Бетховеном и Иисусом. Я лучше знаю смерть, Лу-Энн. Каждую ночь я вижу ухмыляющийся череп. И мне приходится сражаться с ним. Мне приходится плевать на него. А Эли вдруг подходит ко мне и говорит: я, мол, знаю, где ты можешь избавиться от смерти, Оливер, это где-то в Аризоне. Стоит только посетить Братство и сыграть в их маленькую игру, и они освободят тебя от огненного колеса. Не надо опускаться в могилу, не надо предаваться тлению. Они могут выдернуть жало смерти. Могу ли я упустить такой шанс?

Смерть, Лу-Энн. Попробуй представить смерть Лу-Энн Чемберс, скажем, в четверг утром на следующей неделе. Не через десять лет, а на следующей неделе. Идешь ты по Элм-стрит в гости к бабушке с дедушкой, как вдруг какая-то машина теряет управление, вроде той, с беднягами пуэрториканцами, что вчера, и… нет, беру свои слова

обратно. Не думаю, что даже Братство способно уберечь от случайной смерти, от насильственной смерти: какими бы средствами они ни пользовались, чудес они не делают — лишь замедляют физическое разложение. Начнем сначала, Лу-Энн. Идешь ты по Элм-стрит в гости к старикам, как вдруг у тебя в виске самым неожиданным образом лопается кровеносный сосуд. Кровоизлияние в мозг. Почему бы и нет? Иногда, насколько я знаю, такое случается и в девятнадцать лет. Кровь пузырится у тебя в черепе, коленки подкашиваются, и ты падаешь на тротуар, извиваясь и суча ножками. Ты понимаешь, что с тобой что-то происходит, но не можешь даже вскрикнуть и секунд через десять умираешь. Ты вычеркнута из Вселенной, Лу-Энн. Нет, Вселенная вычеркнута из тебя. Теперь забудь о том, что произойдет с твоим телом, о червях в твоих внутренностях, о том, что твои хорошенькие голубые глазки превратятся в навоз, а просто подумай о том, что ты потеряла. Ты потеряла все: закаты и восходы, аромат дымящейся отбивной, ощущение кашемирового свитера, прикосновения моих губ к твоим маленьким твердым соскам, что тебе так нравится. Ты потеряла Великий Каньон и Шекспира, Лондон и Париж, шампанское и вен-

чание в громадной церкви, Пола Маккартни и Питера Фонду, Миссисипи и луну со звездами. У тебя никогда не будет детей, и никогда тебе не отведать настоящей икры, потому что ты умерла на тротуаре, и жизненные соки в тебе начинают закисать. Почему должно быть так, Лу-Энн? Почему мы должны сначала прийти в этот чудесный мир, а потом вдруг лишиться всего этого? По воле Божьей? Нет, Лу-Энн, Бог есть любовь, и Бог не стал бы допускать по отношению к нам такой жестокости, а отсюда следует, что Бога нет, а есть только смерть… Смерть, которую мы должны отвергнуть. В девятнадцать лет умирает не каждый? Это правда, Лу-Энн. Здесь я сыграл краплеными картами. А что если ты все-таки протянешь десять лет, да, и у тебя будет и венчание в церкви, будут и дети, ты увидишь Париж и Токио, ты попробуешь шампанское и икру, а на Рождество полетишь на Луну со своим супругом, состоятельным врачом? А потом к тебе придет Смерть и скажет: ладненько, путешествие было неплохим — не правда ли, детка? — только теперь оно закончилось. Хоп, и у тебя рак матки, гниют яичники, как это нередко бывает у женщин, скоро начинаются метастазы, и ты гниешь, превращаешься в кучу разлагающегося мяса

в больнице какого-нибудь графства. Неужели осознание того, что ты сорок или пятьдесят лет прожила на полную катушку, усилит твое желание уйти навсегда? Разве шутка не становится еще горше оттого, что тебе лишь показали, насколько жизнь может быть хороша, а потом взяли и перерезали ниточку? Нет, Лу-Энн, ты никогда не задумывалась над такими вещами, а я думал. И я говорю тебе: чем дольше ты живешь, тем больше тебе хочется жить. Если, конечно, тебя не мучает боль, если ты не изуродован, если ты не остался один-одинешенек на белом свете и все ато не становится тяжким бременем. Но если ты любишь жизнь, тебе ее всегда будет мало. Даже ты, милая, безмятежная простушка, не захочешь умирать. И я не хочу. Я думал о смерти Оливера Маршалла, поверь мне, и я совершенно отвергаю такой расклад. Почему я пошел на медицинский? Не для того, чтобы сколачивать состояние, выписывая таблетки окрестным дамам, а для того, чтобы познать геронтологию, разобраться с феноменом старения, продления жизни. Чтобы ткнуть пальцем в глаз Смерти. Это было моей заветной мечтой и остается таковой до сего дня: но Эли рассказывает мне о Хранителях Черепов, и я слушаю его. Я слушаю. Со скоростью шестьде-

сят миль в час мы катим на запад. Смерть может настигнуть Оливера Маршалла через восемь секунд — визг, скрежет, грохот! — но может это произойти и через девяносто лет, а возможно, и никогда. Возможно, это не случится никогда.

Представь Канзас, Лу-Энн. Ты знаешь только Джорджию, но представь на мгновение Канзас. Мили кукурузных полей и пыльный ветер, метущий по равнинам. Рос я в городке, где девятьсот пятьдесят три жителя. О Господи, даруй нам сегодня ежедневную смерть. Ветер, пыль, шоссе, худые лица с резкими чертами. Хочешь сходить в кино? Полдня езды до кинотеатра «Эмпориум». Хочешь книжку купить? Для этого, пожалуй, придется съездить в Топеку. Хочешь китайской кухни? Пиццу? Энчиладу? Не смеши. В твоей школе восемь классов и девятнадцать учеников. Один учитель. Знает он не слишком много: слаб здоровьем для работы в поле, потому и подался учительствовать. Пыль, Лу-Энн. Колыхание кукурузы. Долгие летние вечера. Секс. Секс здесь не таинство, Лу-Энн, здесь это необходимость. Тебе тринадцать лет, и ты идешь за амбар, идешь на другой берег ручья. Здесь есть только эта игра. Мы все в нее играли. Криста спускает свои джинсики: как странно она выглядит, у нее между

ног нет ничего, кроме рыжих завитков. Теперь покажи, что у тебя, говорит она. Давай, залезай на меня. Увлекательно, Лу-Энн? Нет, ничего хорошего. Очертя голову ты делаешь свое дело, к шестнадцати годам все девушки уже беременеют, а колесо продолжает проворачиваться. Это смерть, Лу-Энн, смерть при жизни. Я не мог этого выносить. Я должен был бежать. Не в Уичиту, не в Канзас-Сити, а на восток, в настоящий мир, в мир из телевизора. Знаешь ли ты, как я вкалывал, чтобы смыться из Канзаса? Копил деньги на книги. Дважды в день проезжал по шестьдесят миль до школы и обратно. Да, все как у Эйба Линкольна, потому что живу я одной-единственной, ничем не заменяемой жизнью Оливера Маршалла и не могу позволить себе тратить ее на выращивание кукурузы. Отлично, стипендия в колледже Лиги Плюща. Хорошо, на медфаке у меня средний балл «отлично». Я — восходящий к вершинам, Лу-Энн, дьявол прижигает мне пятки, и мне приходится карабкаться все выше. Но зачем? Ради чего? Ради тридцати, сорока, пятидесяти достойно прожитых лет, а потом — на выход? Нет. Нет. Отвергаю. Может быть, для Бетховена, Иисуса и президента Эйзенхауэра смерть и достаточно хороша, но, никого не хочу обидеть, я не такой, я просто не

могу лечь и уйти. Почему все так скоротечно? Почему она приходит так быстро? Почему мы не можем испить Вселенную до дна? Всю мою жизнь Смерть нависает надо мной. Мой отец умер в тридцать шесть от рака желудка; однажды он начал харкать кровью и сказал: «Что-то я много в весе потерял», а через десять дней он был похож на скелет, а еще через десять стал скелетом. Ему было позволено прожить тридцать шесть лет. Что это за жизнь? Мне исполнилось одиннадцать, когда он умер. У меня была собака, собака умерла, нос у нее посерел, уши опали, хвост обвис, и все, прощай. Были у меня две бабушки и два деда, как и у тебя, четверо их было, и они умерли, раз-два-три-четыре, одеревеневшие лица, надгробные камни в пыли. Но почему? Почему? Я так много хочу увидеть, Лу-Энн! Африку и Азию, Южный полюс и Марс, все планеты и Альфу Центавра! Я хочу увидеть восход солнца в тот день, когда начнется двадцать первый век, и двадцать второй тоже. Я жаден? Да, я ненасытен. Сейчас я все это имею. У меня все это есть. Я обречен все это потерять, как и любой другой, и я отказываюсь сдаваться. И вот я еду на запад, а утреннее солнце светит мне в спину, рядом со мной сопит Тимоти, сзади сочиняет стихи Нед, а Эли грустит о той

девице, которую Тимоти не дал ему взять с собой. Я думаю обо всем атом для тебя, Лу-Энн, я думаю обо всем, чего не смог тебе объяснить. « Медитация Оливера Маршалла о смерти. Скоро мы будем в Аризоне. Там мы переживем разочарование и расстанемся с иллюзиями, выпьем пива и скажем друг ДРУУ, что вся эта затея с самого начала не стоила ни цента, а потом снова поедем на восток, чтобы возобновить процесс умирания. Но, может быть, и нет, Лу-Энн, может быть. Шанс есть. Есть самый крошечный, ничтожный шансик на то, что книга Эли правдива. Есть шанс.

9. НЕД

«Сегодня мы проехали четыреста, пятьсот или шестьсот миль и с самого утра не проронили почти ни слова. Напряженность по разным поводам сковывает нас и разделяет. Эли злится на Тимоти; я тоже зол на Тимоти; Тимоти раздражен поведением Эли и моим; Оливеру надоели мы все. Эли сердит на Тимоти, потому что тот не позволил ему взять с собой ту маленькую темненькую девчушку, которую он подцепил вчера вечером. Я сочувствую Эли: я знаю, насколько ему трудно найти симпатичную женщину и какие муки он должен был испытывать при расставании с ней. И все же Тимоти прав: нечего было и думать о том, чтобы взять ее. У меня тоже зуб на Тимоти за то, что он вмешался в мою личную жизнь вчера в баре: он вполне мог позволить мне пойти с тем парнем к нему в берлогу и забрать меня оттуда утром. Но нет, Тимоти боялся, что меня ночью забьют до смерти — сам знаешь, Нед, как это бывает, ведь голубых всегда пришибают рано или поздно, — и поэтому не пожелал выпустить меня из поля зрения. Какое ему дело до того, что меня

забьют во время моих грязных утех? Это разрушило бы мандалу, вот в чем дело. Конструкция о четырех углах — священный диамант. Трое не могут предстать перед Хранителями Черепов: я — необходимый четвертый. Итак, Тимоти, который очень ясно дает понять, что едва ли верит в миф про Дом Черепов, тем не менее исполнен решимости пригнать к святилищу всю компанию в полном составе. Мне по нраву его решимость: есть в этом подходящие резонансы в противофазах, соответствующий круг взаимоотталкивающихся абсурдов. Затея это полоумная, говорит Тимоти, но я собираюсь довести ее до конца, и вы, ребята, черт бы вас побрал, тоже дойдете до конца!

Были в это утро и другие причины для напряженности. Тимоти угрюм и отстранен. Предполагаю, из-за того, что ему неприятна роль «покровителя» или «классного руководителя», в которой ему пришлось выступать вчера вечером, и обижается на то, что мы ему навязали эту роль. (Наверняка он считает, мы это сделали преднамеренно.) Вдобавок, я подозреваю, Тимоти подсознательно раздражен тем, что я обратил свой благосклонный взор на эту достойную жалости звероподобную Мэри: голубой есть

голубой, как записано в книге Тима, и он считает — возможно, небезосновательно, — что я размениваюсь на случку с девицей-страхолюдиной просто в насмешку над неголубыми.

А Оливер — еще тише, чем обычно. Мне кажется, в его глазах мы выглядим легкомысленно, и из-за этого он питает к нам отвращение. Бедный целеустремленный Оливер! Человек, сделавший себя сам, как он время от времени напоминает нам своим скорее молчаливым, чем высказанным неодобрением наших взглядов на жизнь — сознательно линкольнообразный персонаж, вытащивший себя из кукурузных пустынь Канзаса, чтобы добиться высокого звания студента медицины в наиболее погрязшем в традициях колледже страны, и, по воле случая, разделивший жилье и судьбу с поэтом-педиком, выходцем из семейства богатых бездельников и неврастеническим евреем-схоластом. В то время как Оливер посвятил себя сохранению жизней обрядами Эскулапа, я довольствуюсь бумагомаранием на темы современных непостижимостей, Эли — переводом и толкованием непостижимостей древних и забытых, а Тимоти — стрижкой купонов и игрой в поло. Ты, Оливер, единственный, кто имеет общественную значимость, кто по-

клялся стать целителем человечества. Ха! А что, если храм Эли действительно существует и нам будет даровано то, к чему мы так стремимся? Куда тогда девать твое искусство исцеления, Оливер? Зачем становиться доктором, если шаманство может дать тебе жизнь вечную? Вот так! Все, привет! Исчезла профессия Оливера!

Сейчас мы проезжаем по западу Пенсильвании или где-то по восточному Огайо, не знаю, где именно. К вечеру должны добраться до Чикаго. Миля за милей; посты, похожие один на другой. С обеих сторон голые зимние холмы. Бледное солнце. Бесцветное небо. Иногда попадается бензоколонка, ресторанчик, за деревья-ми мелькает какой-нибудь серый, бездушный городишко. Оливер молча вел два часа, а потом швырнул ключи Тимоти; Тимоти хватило на полчаса, он заскучал и попросил повести меня. Я — Ричард Никсон автомобиля: напряженный, слишком нетерпеливый, самоуверенный, все время ошибающийся и оправдывающийся, абсолютно неумелый. Несмотря на свои душевные недостатки, Никсон стал президентом; несмотря на недостаток координации и внимательности, я имею водительские права. У Эли есть теория насчет того, что всех мужчин Америки можно разделить на

две категории: тех, кто умеет водить машину, и тех, кому этого не дано. Причем первые способны лишь размножаться в выполнять физическую работу, а последние воплощают истинный гений расы. Эли считает меня изменником класса, поскольку я знаю, какую ногу ставить на тормоз, а какую на газ, но думаю, что после часа моего вождения он начал пересматривать столь однозначно отведенное мне место. Я не водитель, а всего лишь ряженный под водителя. «Линкольн континентал» Тимоти для меня — как автобус: я пережимаю руль, вихляюсь из стороны в сторону. Дайте мне «фольксваген», и я покажу, на что способен. Оливер, которого и так нельзя назвать терпеливым пассажиром, в конце концов потерял терпение и потребовал снова пустить его за руль. И вот он занял место, наш золотой колесничий, и повез нас навстречу закату.

В одной книге, что я читал недавно, выводится структурная метафора общества из одного этнографического фильма про африканских бушменов, которые охотились на жирафа. Ранили они одно животное отравленными стрелами, но теперь им придется преследовать свою жертву по унылой пустыне Калахари, гоняться за жирафом, пока он не свалится, что займет неделю, а то и

больше. Их было четверо, спаянных в крепкий союз. Вождь — лидер группы охотников. Колдун — кудесник и маг, в случае необходимости призывающий сверхъестественные силы, а в остальных случаях выступающий в качестве посредника между священным духом и реальностью пустыни. Красавец Охотник, славящийся ловкостью, быстротой и силой, выполняющий на охоте самую тяжелую часть работы. И, наконец, Шут, маленький уродец, который высмеивает таинства Колдуна, красоту и силу Охотника, самомнение Вождя. Эти четверо составляют единый организм, в котором каждый важен во время погони. Отсюда автор выводит полюса группы, напоминающие пару взаимодействующих кругов в духе Йейтса: Колдун и Шут составляют левую окружность, Мыслительную, а Охотник и Вождь — правую, Действующую. Каждый из кругов реализует возможности, недоступные другому; ни один из них не имеет смысла без другого, но вместе они образуют устойчивую группу, где все умения и навыки сбалансированы. Отсюда выводится высшая метафора, если подняться от племенного уровня к государственному: Вождь становится Государством, Охотник — Армией, Колдун превращается в Церковь, а Шут — в ис-

кусство. Мы, сидящие в этой машине, составляем микрокосм. Тимоти — наш Вождь; Эли — наш Колдун; Оливер — ваш Красавец Охотник. И я, Шут. И я, Шут.

10. ОЛИВЕР

Худшее Эли оставил напоследок, когда мы уже заглотили идею насчет поездки. Пролистав странички с переводом, он нахмурился, кивнул, изобразив, что никак не может отыскать нужное место, хотя можно было держать пари, что он не забывал об этом месте с самого начала. А потом прочитал:

— «Девятое Таинство состоит в следующем: ценой жизни всегда должна быть жизнь. Знайте, о Высокорожденные, что вечность должна быть уравновешена умиранием, и потому мы просим вас с готовностью поддержать предначертанное равновесие. Двоих из вас мы обязуемся допустить в наш круг. Двое должны уйти во тьму. Подобно тому как посредством жизни мы умираем ежедневно, так и посредством умирания мы будем жить вечно. Есть ли среди вас один, который отвергнет вечность ради своих братьев из четырехугольника, дабы они смогли постичь значение самоотречения? И есть ли среди вас один, которого его товарищи готовы принести в жертву, с тем чтобы они смогли постичь зна-

чение исключения? Пусть жертвы изберут себя сами. Пусть они определят качество этих жизней по качеству их ухода».

Туманная тарабарщина. Мы спорили и препирались часами напролет. Нед напряг для этого дела все свои иезуитские способности, но даже при том нам удалось выудить оттуда лишь одно, наименее привлекательное, но наиболее очевидное значение. Кто-то добровольно должен стать самоубийцей. А двое из троих оставшихся должны убить третьего. Таковы условия сделки. Насколько они реальны? Возможно, все это — иносказание. Скажем, вместо настоящих смертей один из четверых должен просто отказаться от участия в ритуале и уйти, оставшись смертным. Затем двое из троих должны сговориться между собой и выгнать третьего из святилища. Может ли быть такое? Эли считает, что речь идет о настоящих смертях. Конечно, Эли слишком буквально воспринимает всю ату мистику: он вообще воспринимает сверхъестественные вещи чрезвычайно серьезно и, по всей видимости, почти никакого внимания не обращает на реальную сторону жизни. Нед, который ничего не воспринимает всерьез, согласен с Эли. Не думаю, что он так уж поверил в «Книгу Черепов», но он

придерживается того мнения, что если там есть хоть доля правды, тогда Девятое Таинство должно быть истолковано как требование двух смертей. Тимоти тоже ни к чему не относится серьезно, но его манера насмехаться над миром полностью отличается от манеры Неда: Нед — сознательный циник, а Тимоти просто плевать на все хотел. Для Неда — это преднамеренная демоническая поза, а у Тимоти — слишком большой фамильный капитал. Поэтому Тимоти не очень-то колышет Девятое Таинство: для него это такая же чепуха, как и все прочее в «Книге Черепов».

А как насчет Оливера?

Оливер не знает. Да, я верю в «Книгу Черепов» просто потому, что я в нее верю, и, кажется, тоже принимаю буквальное толкование Девятого Таинства. Но я ввязался в это, чтобы жить, а не умирать, и еще не слишком-то задумывался о своих шансах вынуть короткую спичку. Если предположить, что Девятое Таинство — именно то, что мы о нем думаем, то кто станет жертвами? Нед уже дал понять, что ему почти все равно: жить или умереть. Однажды февральским вечером, будучи в подпитии, он толкнул двухчасовую речь об эстетике самоубийства. Побагровев, вспотев и отдуваясь, он напоминал Ленина на ящике

из-под мыла вместо броневика. Врубаться в содержание удавалось лишь иногда, однако общий смысл мы поняли. Ладно, делаем скидку на Неда и приходим к заключению, что на девять десятых его разговоры о смерти — романтический жест; но тем не менее это делает его кандидатом номер один на добровольный уход. А жертва убийства? Эли, конечно. Я жертвой быть не могу: слишком сильно буду отбиваться. Я прихвачу с собой по крайней мере одного ублюдка, и они все это знают. А Тимоти? Да он как буйвол, его кувалдой не убьешь. Тогда как вдвоем с Тимоти мы сможем замочить Эли минуты за две, а то и меньше.

Господи, до чего ж мне такие мысли не нравятся!

Не хочу я никого убивать. Не хочу я ничьей смерти. Я хочу лишь одного: жить, жить самому как можно дольше.

Но если условия именно таковы? Если цена жизни и есть жизнь?

Господи. Господи. Господи.

11. ЭЛИ

В Чикаго мы приехали уже в сумерках после продолжительной дневной езды со скоростью шестьдесят-семьдесят миль в час с короткими редкими остановками. Последние четыре часа вообще не останавливались; Оливер гнал как сумасшедший. Затекшие ноги. Одеревеневшая задница. Остекленевшие глаза. В мозгах — туман из-за слишком долгой езды. Шоссейный гипноз.

С заходом солнца все цвета, казалось, покинули пир: всепроникающая синева объяла все — синее небо, синие поля, синий асфальт, весь спектр переместился в ультрафиолетовую зону. Это напоминало океан, где невозможно определить, что выше, а что ниже горизонта. Прошлой ночью я в лучшем случае спал часа два, а то и меньше. Когда мы не разговаривали и не занимались любовью, то лежали бок о бок в полудремотной неге. Мики! О, Мики! Аромат твой на кончиках моих пальцев. Я вдыхаю. Три раза от полуночи до зари. Как стыдлива была ты поначалу в той узкой спальне с облупившимися бледно-зелеными стенами, психоделическими плакатами, Джоном

Ленноном и Йоко, глядевшими на нас. Ты сдвинула плечи, ты пыталась спрятать от меня груди, ты быстро юркнула в постель, ища убежища под простынями. Почему? Неужели ты считаешь свое тело настолько несовершенным? Верно, ты худа, у тебя острые локти, груди твои невелики. Ты не Афродита. А надо ли тебе ей быть? Разве я Аполлон? По крайней мере ты не отпрянула при моем прикосновении. Интересно, кончила ли ты? Я никогда не мог определить, когда они кончают. Где тот вой, вскрики, судорожные спазмы, о которых я читал? Предполагаю, что у каких-то других девиц. Мои слишком деликатны для таких вулканических оргаистических выбросов. Мне надо бы заделаться монахом», Предоставить бабникам делать свое дело, а самому направить энергию на постижение сокровенного. Возможно, я не слишком хорош в делах постельных. Пусть Ориген послужит мне примером: в момент высшего восторга я совершу самооскопление и принесу свои яйца в качестве жертвы на священный алтарь. И никогда после этого не буду ощущать муки страсти. Увы! Слишком большое удовольствие я от этого получаю. Надели меня целомудрием, Господи, но, пожалуйста, не сейчас. У меня остался телефон Мики. Когда вернусь из Аризоны,

позвоню ей. (Когда вернусь. Если вернусь! А когда и если вернусь, то чем я тогда буду?) Воистину, Мики — именно та, что мне нужна. Я должен ставить перед собой умеренные сексуальные задачи. Не для меня белокурая секс-бомба, не для меня заводила команды болельщиков, не для меня утонченная девица из высшего света с контральто. Для меня — сладенькие, стыдливые мышки. Оливерова Лу-Энн вогнала бы меня в тоску смертную минут за пятнадцать, хоть и допускаю, что разок смог бы ее вытерпеть ради ее груди. А Марго Тимоти? Давай не думать о ней, ладно? Мики для меня, Мики: разумная, бледная, замкнутая, доступная. Сейчас до нее восемьсот миль. Интересно, что рассказывает она обо мне своим знакомым? Пусть превозносит меня. Пусть романтизирует, меня. Я смогу этим воспользоваться.

Итак, мы в Чикаго. Почему Чикаго? Разве от Нью-Йорка до Финикса нет дороги попрямее? Думаю, есть; Я бы проложил курс, который шел бы зигзагами от одного конца континента до другого через Питтсбург и Цинцинатти, но, вероятно, самые скоростные шоссе проходят не по самым прямым линиям, и в любом случае, вот мы, в Чикаго, очевидно, по прихоти Тимоти. Он питал

какое-то сентиментальное чувство к этому городу. Он здесь вырос: по крайней мере, если он не находился в пенсильванском поместье отца, то проводил время в особняке матери на Лейк-Шор-драйв. Есть ли среди протестантов кто-нибудь, кто не разводится каждые шестнадцать лет? Есть ли среди них хоть кто-нибудь, кто не обзавелся как минимум двумя полными комплектами отцов и матерей? Мне попадаются объявления в воскресных газетах: «Мисс Роуэн Демарест Хемпл, дочь миссис Чарльз Холт Уил-мердинг из Гросс-Пойнт, Мичиган, и мистера Дайтона Белнепа Хемпла из Бедфорд-Хиллс, Нью-Йорк, и Мон-тего-Бей, Ямайка, сочетается браком сегодня пополудни в епископальной церкви Всех Святых с доктором Форрестером Чизуэллом Бердсоллом Четвертым, сыном миссис Эллиот Маултон Пек из Бар-Харбор, Мэн, и мистера Форрестера Чизуалла Бердсолла Третьего из Ист-Ислип, Лонг-Айленд». Et cetera ad infinitum[6]. Что за сборище должна быть эта свадьба, куда съезжаются родственники всех мастей, каждый из которых был женат по два или три раза! Имена, тройные имена, освященные временем, девицы с именами

[6] Примечания: 6
И так далее до бесконечности (лат.).

Роуэн, Чоут или Палмер, парни с именами Эмори, Мак-Джордж или Харкорт. Я рос с Барбарами, Луизами и Клер, Майками, Диками и Шелдонами. Мак-Джордж становится просто «Маком», но как прикажете называть юного Харкорта, когда играешь в ринг-а-левио? Или что делать с девчонками по имени Палмер или Чоут? Другой мир эти «правильные» американцы, другой мир. Развод! Мать (миссис А. Б. В.) живет в Чикаго, отец (мистер Э. Ю. Я.) живет под Филадельфией. Мои родители, которые в августе этого года собираются отметить тридцатилетие семейной жизни, на протяжении всего моего детства кричали друг другу: «Развод! Развод! Развод!» Хватит с меня, ухожу и больше не вернусь! Обычная для среднего класса несовместимость. Но развод? Вызывать адвоката? Да мой отец скорее объявит себя необрезанным. Да моя мать скорее войдет голой в «Джимбелс». В каждой еврейской семье есть какая-нибудь тетка, которая однажды разводилась, давным-давно, и сейчас мы об этом не говорим. (Из воспоминаний подвыпивших родителей ты всегда все узнаешь.) Но никто из тех, у кого есть дети. Ты никогда не увидишь здесь кучи родителей, которым требуется очень сложное представление: позвольте вам представить мою мать и ее супруга, позвольте

вам представить моего отца и его супругу.

Тимоти не стал навещать мать, пока мы были в Чикаго. Мы остановились не очень далеко от ее дома, в мотеле с видом на озеро напротив парка Гранта (за номер платил Тимоти с помощью кредитной карточки — ни больше ни меньше, знай наших!). Но он не стал ей звонить. Да уж, воистину теплые, крепкие отношения в семьях гоев. (Позвонить, чтобы поругаться? Стоит ли?) Вместо этого он, имея вид отчасти единственного владельца здешних мест, отчасти — гида туристического агентства, потащил нас на ночную экскурсию по городу. Вот башни-близнецы Марина-Сити, здесь вы видите здание Джона Хэнкока, там — Институт Искусств, а вот — сказочный торговый район Мичиган-авеню. И действительно, на меня, не бывавшего западнее Парсипанни в Нью-Джерси, все это произвело впечатление. Но кто способен составить отчетливое и живое впечатление о великой американской глубинке? Я ожидал увидеть Чикаго закопченным и грязным, апофеозом унылости среднего запада, с семиэтажными домами прошлого века из красного кирпича и населением сплошь из польских, венгерских и ирландских рабочих в спецовках. Между тем оказалось, что это город широких

проспектов и сверкающих небоскребов. Архитектура здесь была потрясающая: в Нью-Йорке нет ничего подобного. Остановились мы, конечно, неподалеку от озера.

— Пять кварталов от берега — и ты найдешь безликий промышленный город, которого ты так жаждешь, — пообещал Нед. — Узкая полоска Чикаго, что мы видели — просто чудо.

На ужин Тимоти привез нас в свой любимый французский ресторан напротив любопытной скульптуры в античном стиле, известной под названием «Водяная Башня». Очередное подтверждение одной из максим Фицджеральда про очень богатых: они отличаются от тебя и меня. О французских ресторанах мне известно не больше, чем о тибетских или марсианских. Родители никогда не водили меня в «Ле-Павильон» или «Шамбор» по торжественным случаям: по окончании школы меня повели в «Брасс-Рейл», а в день получения стипендии — в «Шраффт», где обед на троих обошелся долларов в двенадцать, а я был на седьмом небе от счастья. В тех редких случаях, когда я приглашал на обед девушку, пиршество всегда ограничивалось пиццей или кунг-почи-динг.

Меню во французском заведении, выпендреж с

золотыми тиснеными буквами на листах пергамента размером с газету, представляло для меня непроницаемую тайну. А мой однокурсник, сосед по комнате, Тимоти свободно ориентировался в этих каббалистических надписях, предлагая нам отведать quenelles aux huitres, crepes farcies et roulees, escalopes de veau a 1'estragon, tournedos sautes chasseur, homard a 1'americaine[7]. Оливер, естественно, плавал, как и я, но Нед, будучи, как в я, типичным представителем среднего класса, к моему удивлению, проявил полную компетентность и со знанием дела обсуждал с Тимоти сравнительные достоинства gratin de ris de veau, rognons de veau a la bor-delaise, caneton aux cerises, supremes de volaille aux champignons[8]. (Потом он объяснил, что однажды летом, когда ему стукнуло шестнадцать, он служил мальчиком для утех одному видному нью-гемпширскому гурману.) С меню я однозначно не мог управиться, и Нед сделал заказ для меня, а Тимоти оказал ту же услугу Оливеру. Я вспоминаю устриц, черепаховый

---

[7] Примечания: 7

Фрикадельки из устриц, блины с начинкой, аскалоп из телятины с эстрагоном, сот» из дичи, омар по-американски (фр.).

[8] Примечания: 8

Запеканка из риса и телятины, телячьи почки по-бордосски, утенок с вишней, супрем из домашней птицы с шампиньонами (фр.).

суп, белое вино, сменившееся красным, что-то восхитительное из телятины, состоящий в основном из воздуха картофель, брокколи в густом желтом соусе. По рюмашке коньяку на каждого напоследок. Тучи официантов обхаживали нас настолько бережно, будто мы были разгулявшимися банкирами, а не четверкой затрапезно одетых студентов. Я мельком разглядел счет, и сумма меня поразила: сто двенадцать долларов, не считая чаевых. Широким жестом Тимоти извлек кредитную карточку.

Меня лихорадило, кружилась голова, я чувствовал, что переел: мне даже показалось, что меня вот-вот стошнит прямо на стол, здесь же, среди хрустальных подсвечников, красных ворсистых обоев, изящных скатертей. Позыв прошел без последствий, и уже на улице я почувствовал себя лучше. Я сделал мысленную зарубку на память насчет того, что лет сорок-пятьдесят от бессмертия надо будет посвятить серьезному изучению кулинарного искусства. Тимоти предложил двинуть дальше, по отличным кафе, но все мы уже изрядно подустали и отказались. Вернулись в отель пешком, пройдя по пронизывающему холоду не меньше часа.

Мы сняли номер с двумя спальнями: в одной

— Нед и я, в другой — Тимоти и Оливер. Несмотря на полную измочаленность, я, можно сказать, не спал, оставаясь в каком-то полудремотном, дурном состоянии. Богатый ужин камнем лег на мои потроха. Я решил, что для меня лучше всего будет хорошенько поблевать через пару часов. Когда приспичило, я как был голый побрел в ванную, разделявшую две наши спальни, и в темном коридоре столкнулся с пугающим видением. Обнаженная девушка, повыше меня ростом, с отвисшими тяжелыми грудями, поразительно крутыми бедрами, с венчиком из коротких вьющихся волос каштанового цвета. Суккуб ночи! Призрак, порожденный моим воспаленным воображением! «Привет, красавчик», — проворковала она, подмигнула и проследовала мимо в облаке духов и вожделения, оставив меня изумленно глазеть на ее удаляющиеся пышные ягодицы, пока за ними не закрылась дверь в ванную.

Меня бросило в дрожь от страха и возбуждения. Даже после ЛСД у меня не было столь осязаемых галлюцинаций: неужели вино подействовало сильнее наркотика? Я услышал шум воды и, попривыкнув к темноте, вгляделся в открытую дверь дальней спальни. Повсюду были разбросаны легкомысленные предметы женского

туалета. На одной кровати посапывал Тимоти; на другой — Оливер, а рядом с ним, на подушке, виднелась еще одна женская голова. Значит, не галлюцинация. Где они только успели их подцепить? В соседнем номере? Нет. Понял. Девиц по вызову поставляет обслуга. Снова сработала надежная кредитная карточка. Тимоти постиг американский образ жизни так, как мне, бедному, паршивому студиозусу из гетто, и не снилось. Женщину изволите? Стоит лишь поднять трубку и спросить. У меня пересохло в горле, друг стоял, сердце колотилось. Тимоти спит: очень хорошо, раз уж ее взяли на всю ночь, одолжу-ка я ее на некоторое время. Вот она выйдет, я к ней подвалю и — одну руку на сиськи, другую — на задницу, чтобы ощутить ее шелковистую, бархатную кожу, засосу до горла и приглашу к себе в койку. Точно так и сделаю.

Дверь открылась, она выплыла, покачивая грудями, снова подмигнула и прошла мимо. Я хватал ртом воздух. Продолговатая стройная спина, раздваивающаяся на восхитительные округлые ягодицы; мускусный запах дешевых духов; мягкая, вихляющаяся походка! Дверь спальни закрылась у меня перед носом. Ее наняли, но не для меня. Она принадлежит Тимоти. Я зашел

в ванную, присел перед толчком и блеванул. Теперь — снова в кровать, навстречу безжизненный наркотическим снам.

Поутру девиц и след простыл. Выехали мы около девяти, Оливер за рулем, следующий пункт назначения — Сент-Луис. Я впал в апокалиптическое уныние. В то утро я был готов стирать с лица земли целые империи, окажись мой палец на соответствующей кнопке. Я бы спустил с привязи Стренжлава[9]. Я бы отпустил на волю Фенрира[10]. Я бы уничтожил всю Вселенную, будь у меня такая возможность.

[9] Примечания: 9

Герой кинофильма «Доктор Стренжлав или как я понял, как перестать беспокоиться, и полюбил бомбу».

[10] Примечания: 10

Существо из скандинавской мифологии, гигантский волк, хтонический персонаж, проглатывающий Солнце.

12. ОЛИВЕР

Я вел машину пять часов кряду. Это было чудесно. Они хотели остановиться пописать, размяться, пожевать гамбургеры, сделать то да се, но я не обращал на них внимания. Я просто ехал вперед. Моя нога прилипла к педали газа, пальцы легко касались баранки, спина была совершенно прямой, голова почти неподвижной, а глаза постоянно устремлены в одну точку футах в двадцати-тридцати от ветрового стекла. Мной овладел ритм движения. Это было почти как секс: продолговатая сверкающая машина мчится вперед, насилуя шоссе, и подчиняется она мне. Я получаю от этого неподдельное удовольствие. У меня даже встало на какое-то время. Ночью, когда Тимоти приволок этих потаскух, я не особо обрадовался. Нет, я не стал отказываться, но лишь потому, что от меня этого ждали, да и по своей крестьянской бережливости не хотел я пускать на ветер деньги Тимоти. Три раза я ее поимел, как она и просила: «Хочешь поработать еще разочек, милый?» Но продолжительные, непрерывные и нескончаемые толчки поршней у машины — это

практически разновидность совокупления, это — экстаз. Теперь я, пожалуй, понимаю, что ощущают фанаты на мотоциклах. Вперед и вперед, все дальше и дальше. Пульсирование под тобой.

Мы поехали по шоссе номер 66 через Джолиет, через Блумингтон в сторону Спрингфилда. Движение не слишком напряженное; лишь изредка попадаются вереницы грузовиков, а так — почти никого, и только телефонные столбы один за другим проносятся мимо. Миля в минуту, триста миль за пять часов: при езде на востоке — даже для меня приличная средняя скорость. Голые, плоские поля, кое-где еще покрытые снегом. Ропот на галерке: Эли обзывает меня «чертовой рулевой машиной», а Нед ноет, чтобы я остановился. Делаю вид, что не слышу, и в конце концов они оставляют меня в покое. Тимоти большей частью спит. Я — повелитель дороги.

К полудню стало ясно, что через пару часов мы доберемся до Сент-Луиса. Мы собирались там заночевать, но теперь в этом не было никакого смысла, и когда Тимоти проснулся, он вытащил свои карты и путеводители и стал набрасывать следующий этап путешествия. У них с Эли произошла стычка из-за планов Тимоти. Я особо не прислушивался. Эли, кажется, считал, что

из Чикаго мы должны были двинуть в сторону Канзас-Сити, а не на Сент-Луис. Я уже давно мог им сказать об этом, но меня не волновало, какой маршрут они выберут; как бы там ни было, особого желания проехать через родной Канзас я не испытывал. Тимоти просто не заметил, что Чикаго и Сент-Луис так близко друг от друга.

Отключившись от их перебранки, я немного подумал над тем, что сказал мне Эли вчера вечером, когда мы обозревали достопримечательности Чикаго. На мой взгляд, мы передвигались недостаточно быстро, и я попробовал их немного подогнать, на что Эли заметил:

— Ты прямо заглатываешь этот город. Как какой-нибудь турист в Париже.

— Я первый раз в Чикаго, — ответил я. — И хочу увидеть как можно больше.

— Понятно, это неплохо, — откликнулся он.

Но мне захотелось узнать, почему его так удивило, что меня интересуют незнакомые города. Эли смешался, и мне показалось, он хочет сменить тему разговора. Но я не отставал. В конце концов он объяснил со смешком, которым обычно показывал, что собирается сказать что-то обидное, но это не стоит воспринимать всерьез:

— Просто я хотел понять, почему человек, на

вид такой нормальный, благополучный, так интересуется достопримечательностями.

Тут парень невольно проговорился: для Эли жажда ощущений, стремление к знаниям, желание заглянуть за горизонт ассоциируются преимущественно с теми, кто чем-то обделен, с представителями меньшинств, людьми с физическими недостатками или увечьями, озабоченными социальными проблемами, и так далее. По идее у здоровенного, смазливого балбеса вроде меня не должна болеть голова по причине любознательности: предполагается, что он должен быть как Тимоти — благодушным и беспечным. Проявленный мной интерес не вписывается в трактовку моего характера, сделанную Эли. Поскольку его сильно волнует национальный вопрос, я уж было приготовился услышать от него, что тяга к приобретению знаний присуща по большей части его соплеменникам, если не считать некоторых, достойных снисхождения исключений. Но он этого не сказал, хоть, наверное, и думал именно так. Тогда мне стало интересно да и сейчас я задаюсь этим вопросом: почему он считает меня таким неотесанным? Неужели лишь кривобокие задохлики подвержены навязчивым идеям, что у Эли неотделимо от интеллекта?

Эли меня недооценивает. Он видит во мне воплощение стереотипа: здоровенный, дубоватый, недурной собой гой. Хотел бы я, чтобы он минут на пять заглянул в мои нееврейские мозги.

Мы подъезжали к Сент-Луису. Проехали по пустынному шоссе, проходящему по территории двух штатов, въехали в нечто сырое и убогое под названием Восточный Сент-Луис, и наконец на другом берегу увидели сверкающую Въездную арку. Мы выкатились на мост. При одной мысли о том, что придется пересекать Миссисипи, Эли буквально оцепенел: он по плечи высунулся из окошка с таким видом, будто переправляется через Иордан. Уже на том берегу, в самом Сент-Луисе, я остановился перед блестящим круглым мотелем. Все трое, как придурки, разбежались в разные стороны. Я не вышел. В голове у меня продолжали крутиться колеса. Пять часов без перерыва за рулем! Кайф! Наконец я поднялся. Правая нога занемела, пришлось похромать несколько минут. Но эти пять восхитительных часов того стоили, пять часов наедине с дорогой и машиной. Жалел я лишь о том, что все-таки пришлось остановиться.

13. НЕД

Прохладный синий вечер на плато Озарк. Измочаленность, кислородное голодание, тошнота: последствия усталости от автомобиля. Хорошего помаленьку: вот и привал. Из машины вываливаются четыре красноглазых робота. Неужто мы и впрямь отмахали за сегодняшний день больше тысячи миль? Да, тысячу с гаком: через Иллинойс и Миссури в Оклахому, проходя длинные отрезки со средней скоростью миль семьдесят-восемьдесят в час. Если бы Оливер продолжал так же гнать, то, прежде чем вырубиться окончательно, мы проехали бы еще миль пятьсот. Но мы уже больше не могли. Оливер сам признался, что где-то сотне на шестой с утра начал сдавать. За Джоплином он нас чуть не угробил: глаза у парня остекленели, мозги были в тумане, а руки одеревенели настолько, что он не смог вписаться в вираж, который прекрасно видел. Тимоти просидел за рулем миль сто — сто пятьдесят; на мою долю пришлось, должно быть, все остальное — несколько отрезков, сложившихся в три-четыре часа откровенного страха. Но теперь

надо остановиться. Психологическая нагрузка слишком велика. Сомнение, безнадежность, подавленность, уныние проникли в наш здоровый коллектив. Потерявшие уверенность в себе, обескураженные, разочарованные, встревоженные, мы завалились в облюбованный мотель, удивляясь, каждый на свой лад, как это нам удалось убедить себя влезть в эту авантюру. Ага! Кемпинг «Момент истины», город Х., Оклахома! Мотель «Граница реальности»! Гостиница «Скепсис»! Двадцать секций в псевдоколониальном стиле с пластиковой облицовкой под красный кирпич и белые деревянные колонны, обрамляющие вход. Похоже, мы единственные постояльцы. Жующая резинку ночная дежурная лет семнадцати с прической в духе шестьдесят второго года, обильно политой лаком для волос. Она окинула нас тусклым взглядом, не выказав ни малейшего интереса. Густые бирюзовые тени на веках, подведенных черным контуром. Слишком стервозна и бесцветна на вид даже для того, чтобы быть преуспевающей шлюхой.

— Кафе закрывается в десять, — сообщила она.

Причудливый гнусаво-протяжный выговор. Нам понятно, что Тимоти подумывает, как бы затащить ее к себе в номер для небольшой дрюч-

ки; думаю, он хочет добавить ее к собираемой им коллекции типов со всей Америки. По правде говоря — позвольте высказаться в качестве беспристрастного наблюдателя, представителя подвида полиморфного извращения, — она может выглядеть вполне прилично, стоит ее хорошенько отмыть от косметики и лака для волос. Высокая красивая грудь, распирающая зеленую униформу, выступающие скулы и нос. Но угрюмый взгляд, вялые искривленные губы не смоешь. Оливер мимоходом корчит Тимоти гримасу, не одобряя его идеи. Тимоти соглашается без разговоров: усталость одолела и его. Дежурная выделяет нам смежные комнаты по тринадцать долларов каждая, и Тимоти предлагает ей всемогущий кусок пластика.

— Комнаты слева, — говорит она, одновременно прогоняя карточку через машину, и, покончив с этим делом, полностью от нас отключается, уставившись в стоящий на стойке японский телевизор с пятидюймовым экраном.

Мы направились налево к нашим номерам, миновав пустой бассейн. Надо поторопиться, не то пропустим ужин. Бросили шмотки, плеснули водой в физиономии и побрели в кафе. Наша официантка — сутулая, жующая резинку

— вполне могла сойти за сестру дежурной администраторши. И у нее был долгий день: когда она наклонилась, чтобы громыхнуть перед нами серебряными приборами о пластиковую столешницу, от нее пахнуло едким женским запахом. «Чего желаете, мальчики?» Ни «escalopes de veau», ни «ca-neton aux cerixes». Лишь гамбургеры не первой свежести да жирный кофе. Мы молча поели и безмолвно поплелись в свои комнаты. Прочь пропотевшую одежду. В душ. Сначала Эли, потом я. Дверь, соединяющая наши комнаты, легко открывается. Позади слышится глухой шум: обнаженный Оливер, стоя на коленях перед телевизором, крутит ручки. Я наблюдаю за ним: тугие ягодицы, широкая спина, между мускулистых бедер болтаются гениталии. Подавляю извращенные, похотливые мысли. Эти трое вполне решили проблему сожительства с соседом-бисексуалом: они сделали вид, что моя «болезнь», мое «состояние» как бы не существуют, из этого и исходят. Основное правило широты взглядов: не делать скидок на неполноценность. Делать вид, что слепой видит, что черный — на самом деле белый, что голубой не ощущает никаких позывов при виде Оливеровой гладкой задницы. Дело не в том, что я хоть единожды приставал к нему. Но

он знает. Он знает. Оливер не дурак.

Почему мы сегодня вечером впали в такое подавленное состояние? Отчего утрачена вера?

Должно быть, источником такого настроения стал Эли. Весь день он был мрачен, погружен в бездны экзистенциального отчаяния. Думаю, это уныние носило сугубо личный характер, а причиной его возникновения стали трудности Эли в общении с непосредственным окружением и космосом в целом, но оно незаметно, потихонечку распространилось и заразило нас всех, приняв форму мучительных сомнений:

1. Зачем мы вообще затеяли эту поездку?

2. Что мы в действительности хотим получить?

3. Можем ли мы надеяться найти то, что ищем?

4. А если найдем, то захотим ли этого?

Так что все должно начаться сызнова — все эти самокопания, внутренний раздор. Эли извлек свои бумаги и начал их внимательно изучать: рукопись его перевода «Книги Черепов»; ксерокопии газетных вырезок, приведших его к мысли о том, что с древним невероятным культом, священной книгой которого может оказаться найденная рукопись, связано определенное

место в Аризоне; куча всяких дополнительных материалов и справок. Через некоторое время он оторвался от бумаг и заговорил:

— «Все, что доселе известно медицине, ничто в сравнении с тем, что предстоит открыть… мы смогли бы освободиться от множества недугов тела и души и, возможно, даже от бессилия старости, если бы обладали достаточными знаниями об их причинах и обо всех лекарствах, дарованных нам природой». Это из Декарта, «Рассуждения о методе». А вот еще одно место из Декарта, из его письма отцу Гюйгенса: «Никогда не заботился я так, как сейчас, о сохранении самого себя, и, хотя я раньше считал, что смерть может украсть у меня не больше тридцати или сорока лет, теперь же меня удивит, если она наступит раньше чем через сто лет: поскольку мне кажется очевидным, что если мы убережемся от определенных ошибок в образе жизни, то сможем без особых ухищрений достичь гораздо более продолжительной и счастливой старости, чем ныне».

Не первый раз я это слышал. Эли уже давно показывал нам все это. Решение о паломничестве в Аризону вызревало чрезвычайно медленно, и его принятие стимулировалось тоннами псевдофилософской болтовни. Как и тогда, я заметил:

— Но ведь Декарт умер в сорок четыре года?

— Несчастный случай. Неожиданность. Кроме того, к тому времени он еще не успел довести до конца свои теории относительно долгожительства.

— Жаль, что он медленно работал, — заметил Тимоти.

— Да, жаль, — сказал Эли. — Но нас ждет встреча с Хранителями Черепов. Они-то довели свои методы до совершенства.

— Это ты так считаешь.

— Я в это верю, — произнес Эли, стараясь заставить себя поверить. И снова повторилась знакомая сцена. Вымотавшийся Эли, балансирующий на грани неверия, снова прибег к своим аргументам, чтобы еще разок собраться с мыслями. Он профессорским жестом простер руку с растопыренными пальцами.

— Мы пришли к тому, — заговорил он, — что беспристрастность закончилась, прагматизму настал конец, изощренный скептицизм устарел. Мы перепробовали все эти подходы, и они не срабатывают. Они отсекают нас от слишком многих важных вещей. Они не дают исчерпывающего ответа на реальные вопросы; они лишь позволяют нам иметь умудренный и циничный, но все же

невежественный вид. Согласны?

— Согласен, — ответил Оливер, твердо глядя на Эли.

— Согласен, — зевнул Тимоти.

— Согласен, — ответил даже я и ухмыльнулся. Эли заговорил снова:

— В современной жизни не осталось тайны. Научное поколение полностью ее убило. Рационалистическая чистка лишила ее всего маловероятного и необъяснимого. Посмотрите, как выхолостили религию за последнюю сотню лет. Бог умер, говорят они. Да, он мертв: убит, погублен. Смотрите, я еврей, я учил иврит как добропорядочный маленький жид, я читал «Тору», я прошел Бар-Митцву[11], мне подарили авторучку — так хоть раз кто-нибудь упоминал при мне о Боге в достойном внимания контексте? Бог — это некто, говоривший с Моисеем. Бог явился столпом огненным четыре тысячелетия тому назад. Где Бог сейчас? Не спрашивайте об этом у еврея. Мы долгое время не видели Его. Мы соблюдаем правила, посты, почитаем обычаи, слова Библии, бумагу, на которой напечатана Библия, саму книгу в переплете, но не поклоняемся

[11] Примечания: 11

Праздник совершеннолетня, после которого иудеи допускаются к участию в религиозных обрядах.

сверхъестественным существам, таким как Бог. Бородатый старик, подсчитывающий грехи, — нет, это для *шварцер* , это для гоев. А что можно сказать про вас? У вас тоже нет настоящей веры. Твоя, Тимоти, высокая церковь — клубы ладана, расшитые одежды, хор мальчиков, поющий под музыку Вогана Уильямса и Элгара. А твои, Оливер, методисты, баптисты, пресвитериане — всех и не упомнишь — это вообще ноль, абсолютная пустота, ни духовного содержания, ни тайны, ни экстаза. Все равно что быть иудеем-модернистом. А ты, Нед, католик, неудавшийся священник, ты что имеешь? Пречистую Деву? Святых? Младенца Христа? Не можешь же ты верить во всю ату чепуху. Это вытравлено из твоих мозгов. Это все для крестьян, для люмпенов. Все эти иконы и святая водица. Хлеб и вино. Ты хотел бы в это верить — Господи Иисусе, да я и сам хотел бы. Католицизм — единственная законченная религия этой цивилизации, которая пытается совершать таинства, войти в резонанс со сверхъестественным, принимает во внимание высшие силы. Но они сами разрушили это, разрушили нас. Ты уже неспособен уверовать. Теперь твое мировоззрение — Бинг Кросби и Ингрид Бергман, Берриганы с их манифестами, поляки, предостерегающие от

безбожного коммунизма и порнофильмов. Так что религия исчезла. Закончилась. И к чему мы пришли? Одни под враждебным небом в ожидании конца. В ожидании конца…

— Многие до сих пор еще ходят в церковь, — заметил Тимоти. — Даже в синагогу, как я полагаю.

— По привычке. Из страха. Из социальной потребности. Но открывают ли они свои души Господу? Когда ты в последний раз открывал свою душу перед Господом, Тимоти? А ты, Оливер? А ты, Нед? А я? Когда мы хотя бы думали о необходимости сделать что-то подобное? Это звучит абсурдно. Бог настолько осквернен всякими евангелистами, археологами, теологами, поклоняющимися ложным кумирам, и неудивительно, что Он мертв. Мы что, теперь все должны становиться учеными и все объяснять на уровне протонов, нейтронов и ДНК? Где тайна? Где глубина? Мы должны сделать все это сами. В современной жизни не хватает тайны. Хорошо, тогда задачей интеллектуала становится создание такой атмосферы, где появляется возможность проникнуться непостижимым. Закрытый ум — мертвый ум.

Эли начинал расходиться, все больший пыл охватывал его. Билли Грэм каменного века.

— Последние восемь-десять лет мы все пытаемся доковылять до некоего работоспособного синтеза, какого-то структурного коррелята, который поможет нам сохранить мир целостным посреди всего этого хаоса. Марихуана, ЛСД, общины, рок, трансцендентализм, астрология, макробиотики, дзен — мы ищем, верно ведь? Мы все время ищем. И иногда находим. Нечасто. Мы заглядываем во множество пустых мест, потому что большинство из нас в основе своей тупицы, даже лучшие из нас, а еще потому, что мы не сможем узнать ответов, пока не сформулируем больше вопросов. Поэтому мы гоняемся за летающими тарелками. Мы надеваем гидрокостюм и ищем атлантов. Мы погружаемся в мифологии, фантазии, паранойю. Срединный мир, аномалии, иррациональность в тысячах видов. Что бы они ни отвергли, мы принимаем, часто именно по тем причинам, по которым они от этого отказались. Мы бежим от разумного. Не подумайте, что я с этим полностью согласен. Я просто утверждаю, что это необходимо, что нам нужно пройти через этот этап, через огонь, возродиться. Одного благоразумия оказалось недостаточно. Западный человек бежал от суеверного невежества в пустоту материализма: теперь нам надо продолжать

путь, иногда заводящий в тупик или на ложные тропы, пока мы снова не научимся воспринимать Вселенную во всем ее таинственном, необъяснимом величии, пока мы не найдем то, что нужно — синтез, соединение, которое позволит вам жить так, как и следует жить. А тогда мы сможем жить вечно. Или настолько приблизимся к бессмертию, что не будет никакой разницы.

Тимоти спросил:

— И ты хочешь заставить нас поверить, будто «Книга Черепов» указывает именно этот путь, так?

— Это одна из возможностей. Она дает вам шанс попасть в бесконечность. Разве это плохо? Разве не стоит попробовать? Что нам дают насмешки? Что дает нам сомнение? Куда ведет нас скептицизм? Разве мы не можем попробовать? Разве мы не можем посмотреть?

Эли вновь обрел свою веру. Стоя голым, он кричал, потел, размахивал руками. Все его тело горело. Именно сейчас он был по-настоящему красив. Красавчик Эли!

— Я участвую в этом деле с самого начала, — заговорил я, — но в то же время не дам ни цента за все это. Вы меня понимаете? Я разрабатываю диалектику мифа. Его невероятность борется с моим

скептицизмом и гонит меня вперед. Натяжки и противоречия — моя питательная среда.

Адвокат дьявола, Тимоти, покачал головой — тяжелое бычье движение; его массивная, мясистая фигура перемещалась, как медленный маятник.

— Продолжай, старик. А во что ты по-настоящему веришь? В Черепа — да или нет, спасение или дерьмо, факт или фантазия? Во что именно?

— Ив то, и в другое, — ответил я.

— Да? Но ты не можешь получить и то, и другое.

— Могу! — воскликнул я. — И то, и другое! И да, и нет! Ты можешь последовать туда, где я обитаю, Тимоти? В то место, где напряжение достигает максимума, где «да» крепко привязано к «нет»? Где ты одновременно отрицаешь существование необъяснимого и принимаешь существование непостижимого. Жизнь вечная! Чепуха все это, груз вожделений, старинная бредовая мечта, не так ли? Но в то же время это и реальность. Мы можем прожить тысячу лет, если захотим. Но это невозможно. Я утверждаю. Я отрицаю. Я аплодирую. Я смеюсь.

— В твоих словах нет смысла, — буркнул Тимоти.

— Зато в твоих его слишком много. Плевать я хотел на твой смысл! Эли прав: нам необходимо безрассудство, нам требуется неизвестное, нам нужно невозможное. Целое поколение научилось верить в невероятное, Тимоти. А ты вот стоишь тут со своей армейской стрижкой и бубнишь, что в этом нет смысла.

Тимоти пожал плечами.

— Все верно. А чего от меня можно ожидать? Я же просто тупой жлоб.

— Это твоя поза, — заметил Эли. — Твой имидж, твоя маска. Большой, туповатый здоровяк. Это ограждает тебя, избавляет от любых обязательств — эмоциональных, политических, идеологических, метафизических. Ты говоришь, что ничего не понимаешь, пожимаешь плечами, отходишь назад и смеешься. Почему ты хочешь выглядеть эдаким зомби, Тимоти? Почему ты хочешь от всего отключиться?

— Он ничего не может с собой сделать, Эли, — сказал я. — Ов рожден быть джентльменом. Он по определению в отключке.

— Ах ты, мать твою, — весьма по-джентльменски ответствовал Тимоти. — Да что вы вообще знаете, вы оба? И что я здесь делаю? Позволить еврею и голубому протащить себя по половине

западного полушария, чтобы проверить сказку, которой тысяча лет!

Я сделал легкий реверанс.

— Отлично исполнено, Тимоти! Признак истинного джентльмена: он никогда не оскорбит непреднамеренно.

— Ты задал вопрос, — сказал Эли, — так сам и отвечай. Что ты здесь делаешь?

— И не надо обвинять меня в том, что я тебя сюда потащил, — заметил я. — Это затея Эли. Я сомневаюсь не меньше, а то и больше твоего.

Тимоти фыркнул. По-моему, он ощутил численное превосходство. Очень тихо он сказал:

— Я поехал просто прокатиться.

— Прокатиться! Прокатиться! — возмутился Эли.

— Ты просил меня поехать. Ты же сам говорил, что для поездки нужны четверо, а мне на Пасху все равно делать было особо нечего. Мои друзья-товарищи. Моя машина, мои деньги. Могу же я подыграть. Вы ведь знаете, Марго балдеет от астрологии: ах, Весы здесь, Рыбы там, ах, Марс в десятом доме Солнца. Да она трахаться не станет, прежде чем со звездами не сверится, а это иногда очень неудобно. И что, разве я над ней смеюсь? Разве я подкалываю Марго, как делает ее отец?

— Если только в душе, — согласился Эли.

— Это мое дело. Я принимаю то, что могу принять, а остальное неважно. Но я к этому отношусь спокойно. Я терплю ее ведьм и знахарей. И твоих, Эли, я тоже терплю. Это еще один признак джентльмена, Нед: он добродушен, он никого не тянет в свою веру, он никогда не проталкивает свои идеи за счет чужих.

— У него нет в этом нужды, — сказал я.

— Да, нужды в этом нет. Ладно: я здесь, верно? Я плачу за этот номер, так? Я участвую в деле на четыреста процентов. Должен ли я быть Истинно Верующим? Должен ли обратиться в вашу веру?

— А что ты будешь делать, — спросил Эли, — когда мы действительно окажемся в Доме Черепов, а Хранители Черепов предложат нам подвергнуться Испытанию? Не станет ли твоя привилегия неверия помехой, и сможешь ли ты отдаться в их руки?

— Я все оценю, — медленно ответил Тимоти, — как только появится нечто, достойное оценки.

Он вдруг повернулся к Оливеру:

— Что-то ты совсем притих, Истинный Американец.

— А что бы ты хотел от меня услышать? — откликнулся Оливер. Его длинная поджарая фигура

вытянулась перед телевизором. На коже проступала каждая мышца: ходячий анатомический справочник. Его продолговатый розовый член, свисавший из золотистой поросли, навеял на меня неуместные мысли. Retro me, Sathanas[12]. Этот путь ведет к Гоморре, если не к Содому.

— Не желаешь ли поучаствовать в дискуссии?

— Я не очень-то прислушивался.

— Мы говорили про эту поездку. Про «Книгу Черепов» и степень нашей веры в нее, — пояснил Тимоти.

— Вон оно что.

— Не желаете ли заявить о своей вере, доктор Маршалл?

Оливер имел такой вид, будто находился на полпути в другую галактику.

— Привилегию сомневаться предоставляю Эли, — сказал он наконец.

— Так ты веришь в Черепа? — спросил Тимоти.

— Верю.

— Хоть нам и известно, что все это абсурдно?

— Да, — кивнул Оливер, — пусть и абсурдно.

— Такую же позицию занимал Тертуллиан, — вставил Эли. — Credo quia absurdum est. Верю,

---

[12] Примечания: 12
Изыди, Сатана (лат.).

потому что абсурдно. Вера, конечно, другая, но психология та же.

— Да-да, точь-в-точь моя позиция! — обрадовался я. — Верю, потому что абсурдно. Добрый старый Тертуллиан. Он высказал именно то, что я чувствую. Моя позиция, один к одному.

— Но не моя, — подал голос Оливер.

— Неужели? — заинтересовался Эли.

— Нет. Я верю, *несмотря* на абсурдность.

— Почему? — спросил Эли.

— Почему? — спросил и я после долгой паузы. — Ты знаешь, что это абсурдно, и все же веришь. Почему?

— Потому что вынужден. Потому что это моя единственная надежда.

Он в упор смотрел на меня. Глаза его имели особое выражение, будто когда-то ему уже пришлось заглянуть в лицо смерти и уйти живым, лишившись при этом какого-либо выбора, оставшись почти без единого шанса. Тогда, на краю Вселенной, он услышал трубные звуки и барабаны похоронного марша. Этот ледяной взгляд испепелил меня. Эти сдавленные слова пронзили меня насквозь. «Я верю, — сказал он. — *Несмотря* на абсурдность. Потому что вынужден. Потому что это моя единственная надежда». Это прозвучало,

как сообщение с другой планеты. Я почувствовал присутствие в этой комнате Смерти, безмолвно обдающей своим холодным дыханием наши цветущие мальчишеские щеки.

14. ТИМОТИ

Гремучая смесь — наша четверка. Как мы вообще оказались вместе? Какие переплетения линий судьбы собрали нас в одной комнате?

Поначалу были только мы с Оливером, два первокурсника, определенные компьютером в двухместную комнату с видом во двор. Я недавно выпустился из Эндовера и был исполнен сознания собственной значимости. Не хочу сказать, что пыжился из-за семейных капиталов. Я воспринимал это как должное и всегда спокойно относился к деньгам: богатыми были все, с кем я рос вместе, и поэтому я не ощущал реальных размеров нашего состояния, тем более что сам палец о палец не ударил, чтобы его заработать (как и мой отец, и дед, и прадед и т. д. и т. п.), так что нос задирать не с чего. Чем была забита моя голова, так это осознанием преемственности, осознанием того, что в жилах моих течет кровь героев Войны за независимость, сенаторов и конгрессменов, дипломатов и великих финансистов прошлого века. Я представлял собой ходячий кусок истории. А еще мне было приятно осозна-

вать, что я высок, силен и здоров: в здоровом теле — здоровый дух, все естественные преимущества при мне. За пределами кампуса раскинулся мир, полный черных, евреев, шизанутых, неврастеников, педиков и прочей нечисти, но я вытянул счастливый билет и теперь мог гордиться своей удачей. Вдобавок я имел сотню в неделю на карманные расходы, что было вполне удобно, и я, пожалуй, и не задумывался над тем, что в восемнадцать лет большинство ребят вынуждены довольствоваться меньшим.

Потом появился Оливер. Я решил, что компьютер снова сыграл мне на руку, поскольку вполне мог попасться какой-нибудь эксцентричный чудак, кто-нибудь с изломанной, ревнивой, озлобленной душой, а Оливер казался вполне нормальным. Будущий медик приятной наружности, вскормленный кукурузой на просторах Канзаса. Он был примерно одного со мной роста — разве что на дюйм повыше — и это было неплохо: я всегда испытываю неловкость при общении с малорослыми. Наружность Оливер имел самую беззаботную. Почти все вызывало у него улыбку. Беспечный тип. Родителей нет в живых: он попал сюда на полную стипендию. Я сразу же понял, что денег у него вообще нет, и слегка

испугался, что это обстоятельство может вызвать натянутость в наших отношениях, но напрасно. Казалось, деньги его совершенно не интересуют, пока он в состоянии платить за пищу, одежду и крышу над головой, а на это ему хватало — за счет небольшого наследства и выручки от продажи семейной фермы. Толстая пачка денег, которую я всегда таскал с собой, скорее забавляла его, чем вызывала благоговение.

В первый же день Оливер сообщил, что хочет войти в баскетбольную команду, и я решил, что он собирается поступить на спортивное отделение, но ошибся: ему нравился баскетбол, он очень серьезно относился к игре, но сюда он попал для того, чтобы учиться. В этом-то и состояло коренное различие между нами: дело не в Канзасе и не в деньгах, а в его целеустремленности. Я-то поступил в колледж, потому что все мужчины из моего рода учились в колледже между окончанием школы и возрастом зрелости; Оливер же поступил туда, чтобы превратить себя в неумолимую думающую машину. У него был и до сих пор есть чудовищный, невероятный, ошеломляющий внутренний позыв. В течение первых нескольких недель я иногда заставал его без маски: ослепительная улыбка деревенского

парня пропадала, лицо приобретало жесткое выражение, челюсти плотно сжимались, а в глазах появлялся холодный блеск. Его напористость была способна вызвать страх, ему во всем нужно было достичь совершенства. Он получал только отличные оценки, учился чуть ли не лучше всех на курсе, а еще он сколотил из первокурсников баскетбольную команду и побил рекорд колледжа по очкам в первой же игре. По полночи он проводил над учебниками, обходясь вообще почти без сна. И при этом умудрялся вполне прилично выглядеть. Парень пил много пива, имел несметное количество девиц (мы обычно обменивались ими) и вполне сносно играл на гитаре. Единственное, в чем проявлялся другой Оливер, Оливер-машина, было отношение к наркотикам. На второй неделе жизни в кампусе я раздобыл классного марокканского гашиша, но он наотрез отказался, сказав, что не для того семнадцать с половиной лет шлифовал мозги, чтобы теперь превращать их в кашу. И за последние четыре года, насколько я знаю, он выкурил не больше одной сигаретки. Он терпимо относился к тому, что мы покуривали, но сам сторонился наркотиков.

Весной на втором курсе к нам присоединился Нед. В том году мы с Оливером снова поселились

вместе. Нед пересекался с Оливером на двух курсах: физике, которая была нужна Оливеру для научного минимума, и сравнительной литературе, которой Оливер занимался для сдачи минимума по гуманитарным дисциплинам. Джойс и Йейтс вызвали у Оливера некоторые затруднения, а у Неда возникли аналогичные проблемы с квантовой теорией и термодинамикой. Это и стало основой для их взаимовыгодного репетиторства.

Эти двое представляли собой полную противоположность друг другу — Нед был невысокий, с тихим голосом, тощий, с большими кроткими глазами и изящными движениями. Ирландец из Бостона, выросший в полностью католическом окружении и закончивший приходскую школу: даже на втором курсе он продолжал носить распятие и иногда посещал мессу. Он собирался стать поэтом и писать рассказы. Нет, пожалуй, «собирался» — не то слово. Как Нед однажды объяснил, люди талантливые не собираются становиться писателями. У тебя это или есть, или нет. Те, у кого есть, пишут, а те, у кого нет, собираются. Нед всегда писал. И до сих пор пишет. Таскает с собой блокнот на проволочной спирали и заносит туда все, что слышит. Положа руку на сердце должен

сказать, что считаю его рассказы чепухой, а стихи — бредятиной, но признаю, что дело, .возможно, в моем вкусе, а не в его таланте, поскольку те же чувства я испытываю по отношению к писателям куда более знаменитым, чем Нед. По крайней мере он постоянно оттачивает свое искусство.

Нед стал для нас чем-то вроде талисмана. Он всегда был ближе с Оливером, чем со мной, но я не имел ничего против его присутствия: он был другим, с совершенно иными взглядами на жизнь. Его хрипловатый голос, печальные собачьи глаза, экстравагантная одежда (он носил в основном балахоны; полагаю, изображая, будто все же заделался священником), его поэзия, его своеобразный сарказм, его путаные мозги (любой предмет он всегда рассматривал с двух-трех сторон и умудрялся одновременно верить во все сразу и ни во что) — все это интриговало меня. Мы должны были казаться ему такими же чужеродными, как и он нам. Нед проводил у нас так много времени, что однажды, на предпоследнем курсе, мы пригласили его жить с нами в комнате. Не помню, кто первым это предложил: Оливер или я (или сам Нед?).

Тогда я не знал, что он педик. Или, точнее, голубой, если пользоваться термином, который

он сам предпочитает. Проблема замкнутого образа жизни «истинного американца» состоит в том, что ты сталкиваешься лишь с узким кругом людей и не ждешь никаких неожиданностей. Конечно, я знал, что есть такая штука, как голубые. Были у нас в Эндовере. Они ходили, оттопырив локти, много занимались своими прическами и говорили с особым прононсом, характерным произношением гомосеков, который можно услышать от острова Мэн до Калифорнии. Они всю дорогу читали Пруста и Жида, а некоторые из них под футболками носили лифчики. Впрочем, явно феминизированным Нед не был. Да, он был артистичен, эрудирован, спортом не увлекался, но ведь нельзя же ожидать, чтобы человек, в котором сто пятнадцать фунтов живого веса, проявлял повышенный интерес к футболу. Зато он почти каждый день ходил в бассейн. (Мы, конечно, плавали там с голыми задницами, так что для Неда это было вроде бесплатного кино, но тогда я об этом не думал.) Единственное, что я заметил — он не увлекался девицами. Но ведь это еще не основание для обвинений. Два года назад, за неделю до сессии, мы с Оливером и еще с несколькими ребятами устроили в нашей комнате, я бы сказал, оргию, на которой присут-

ствовал и Нед, и видимого отвращения у него эта затея не вызвала. Я своими глазами видел, как он натягивал одну телку, официантку из города. Прошло немало времени, прежде чем я сообразил: во-первых, оргия могла послужить Неду материалом для его писаний, а во-вторых, он не то чтобы презирал женский пол, просто предпочитал мальчиков. Нед притащил к нам Эли. Нет, любовниками они не были, просто приятелями. Практически первое, что я услышал от Эли, было примерно следующее: «Если вам интересно, то я гетеросексуален. Нед — не мой тип, а я — не в его вкусе». Никогда этого не забуду. Это было первым намеком на то, что из себя представляет Нед. Думаю, Оливер тоже об этом не догадывался, хотя никогда не знаешь, что на самом деле творится у него в голове. Эли, конечно, сразу же раскусил Неда. Городской мальчик, интеллектуал с Манхеттена, он с первого взгляда мог отнести любого к соответствующей категории. Так получилось, что он терпеть не мог своего соседа и хотел переехать, а у нас комната была большая. Нед спросил, не можем ли мы взять его к себе. Было это в ноябре, на предпоследнем курсе. Мой первый знакомый еврей. Я и этого не знал — ах ты, святая простота! Эли Штейнфельд с Западной

83-й улицы, а тебе и невдомек, что он еврей! Если честно, я думал, это типично немецкая фамилия: евреи обычно называются Коэн, Кац или Гольдберг. Меня не слишком-то занимала личность Эли, но когда я узнал, что он еврей, то ощутил потребность пустить его к нам жить. Просто ради того, чтобы расширить свои знания о жизни за счет какого-то разнообразия, а еще потому, что я был воспитан в нелюбви к евреям, и мне захотелось взбунтоваться против этого. Мой дед по линии отца имел печальный опыт общения с умными евреями году в 1923-м: какие-то Абрамы с Уолл-стрит уломали его вложить крупные средства в организованную ими же радиокомпанию, а поскольку они оказались жульем и в результате он потерял пять миллионов, недоверие к евреям стало семейной традицией. Они-де и вульгарные, и нахальные, и лицемерные, и так и норовят избавить честного протестантского миллионера от его нелегко доставшегося по наследству богатства, и т. д. и т. п. На самом деле, как мне однажды признался дядя Кларк, дедушка мог бы удвоить вложенные деньги, если бы в течение восьми месяцев продал свои акции, как тайком сделали его еврейские партнеры, но нет, он все выжидал навара погуще, в результате чего и облежался.

Как бы там ни было, я поддерживаю далеко не все семейные традиции.

Эли переехал к нам. Малорослый, смугловатый, с волосатым телом, быстрыми, нервными, сверкающими глазками, крупным носом. Блестящий ум. Специалист по языкам средневековья: уже признан видным ученым в своей области, а всего лишь на последнем курсе. С другой стороны, он был довольно жалок — косноязычен, неврастеничен, очень напряжен, постоянно озабочен по поводу своих мужских достоинств. Все время, причем, как правило, безуспешно, волочился за девицами, в том числе и за клёвыми. Не за картинно страшненькими, которых неизвестно почему предпочитал Нед: Эли приударял за женщинами типа неудачниц — стыдливыми, сухопарыми, неприметными плоскогрудыми девчонками в очках с толстыми стеклами… Ну, в общем, понятно. Естественно, такие же неврастенички, как и он, пугающиеся секса, они не шли ему навстречу, что лишь усугубляло его проблемы. Казалось, Эли просто страшно подвалить к нормальной, симпатичной, страстной девице. Однажды прошлой осенью я подослал к нему в качестве дара христианского милосердия Марго, а он самым невообразимым способом

обмишурился.

Вот такая четверка. Вряд ли я когда-нибудь забуду первую (возможно, единственную) встречу наших родителей весной на предпоследнем курсе, во время большого карнавала. До той поры, как я думаю, никто из предков и не представлял себе более менее отчетливо соседей своего сына. Пару раз я привозил к себе домой на Рождество Оливера и познакомил его с отцом, но Неда и Эли не приглашал ни разу, и их стариков тоже никогда не видел. Вот мы все и собрались. Со стороны Оливера, конечно, никого. У Неда отец тоже умер. Его мать была высоченной женщиной футов шести росту, вся в черном, сухощавая, с глубоко посаженными глазами и сильным ирландским акцентом. Никогда бы не сказал, что она может иметь какое-то отношение к Неду. Мать Эли была низенькой, полной, с переваливающейся походкой, слишком крикливо одетой; отец же был почти незаметным, часто вздыхавшим человечком с печальным лицом. Они оба выглядели намного старше Эли. Должно быть, он появился на свет, когда им было лет по тридцать пять — сорок. Приехал и мой отец, который выглядел примерно так, как, на мой взгляд, буду выглядеть и я лет через двадцать пять: гладкие

розовые щеки, густые светлые волосы, подернутые сединой, выражение глаз свидетельствует о больших деньгах. Крупный, красивый человек типа члена совета директоров. С ним была Сайбрук, его жена, которой, кажется, лет тридцать восемь, но можно дать и на десяток поменьше: высокая, ухоженная, длинные прямые золотистые волосы, ширококостная спортивная фигура, в общем — женщина, похожая на гончую. И представьте себе: вся эта компания сидит под зонтом за столиком во дворе и пытается поддерживать разговор. Миссис Штейн-фельд пробует опекать Оливера, бедного сиротку. Мистер Штейнфельд с ужасом взирает на костюмчик из итальянского шелка моего папаши за четыреста пятьдесят долларов. Мать Неда в полной отключке: она не понимает ни своего сына, ни его друзей, ни их родителей, и вообще не соображает, какой век на дворе. Сайбрук сердечно и оживленно щебечет про благотворительные чаепития, про грядущий дебют своей падчерицы. («Она у вас актриса?» — спросила озадаченная миссис Штейнфельд. «Я имею в виду ее выходной бал», — пояснила не менее озадаченная Сэйбрук.) Мой отец очень долго разглядывал свои ногти, затем пристально изучал супругов Штейнфельд и Эли, не желая верить

тому, что видел. Стремясь поддержать разговор, мистер Штейнфельд заговорил с моим отцом о рынке акций. Вложений у мистера Штейнфельда нет, но он очень внимательно читает «Тайме». Отцу про этот рынок ничего не известно. Пока перечисляются дивиденды, он счастлив; кроме того, не говорить о деньгах — один из его принципов. Он делает знак Сэйбрук, и та искусно меняет тему, начав рассказывать про то, как руководит комитетом по сбору средств в помощь палестинским беженцам: ну вы знаете, говорит она, это те, кого выгнали евреи, когда образовался Израиль. Миссис Штейнфельд начала хватать ртом воздух: каково выслушивать такое активистке! Хадессы! Тогда мой отец показывает через двор на одного из наших однокурсников с особенно длинными волосами и говорит: «Готов был поспорить, что это девушка, пока он не повернулся в нашу сторону». Оливер, у которого самого волосы до плеч, как я полагаю, чтобы показать, что он думает о Канзасе, одаривает отца самой ледяной улыбкой, на которую способен. То ли не испугавшись, то ли не заметив, отец продолжает: «Возможно, я ошибаюсь, но меня не оставляют подозрения, что многие из тех молодых людей с длинными волосами несколько гомосексуальны». Нед при

этом громко расхохотался. Мать Неда побагровела и закашлялась — не потому, что ей известна правда о ее мальчике (она об этом и помыслить неспособна), но потому, что этот приличный с виду мистер Винчестер произнес за столом неприличное слово. Быстро соображающие Штейнфельды смотрят сначала на Эли, потом на Неда, потом друг на друга — очень сложная реакция. Не грозит ли что-нибудь их сыночку с таким-то соседом? Мой отец никак не может сообразить, почему его случайное замечание вызвало подобную реакцию и перед кем и за что ему следует извиняться. Он хмурится, а Сэйбрук что-то шепчет ему на ухо — ай-ай-ай, Сэйбрук, шептаться в обществе! Что люди скажут! — после чего он вспыхивает, чуть ли не багровеет. «Может быть, закажем что-нибудь?» — громко, чтобы скрыть замешательство, предлагает он и величественным жестом подзывает официанта из студентов. «У вас есть Шазань-Монтраше 1969 года?» — спрашивает он. «Простите, сэр?» — тупо переспрашивает парень. Доставляется ведерко со льдом и с бутылкой «Либфраумильх» за три доллара — лучшее, что у них есть, — и отец расплачивается новехоньким полтинником. Мать Неда с недоверием глядит на купюру; Штейн-

фельды кисло смотрят на отца, решив, что он собирается сразить их наповал. Незабываемый, чудесный эпизод — весь этот обед. Уже потом Сэйбрук отводит меня в сторонку и говорит: «Твой отец чувствует себя очень неловко. Если бы он знал, что Эли… м-м-м… увлекается другими мальчиками, он ни за что не сделал бы подобного замечания».

«Да не Эли, — говорю я. — Эли-то нормальный. Нед».

Сэйбрук взволнована. Она думает, уж не разыгрываю ли я ее. Ей хочется сказать, что они с отцом надеются, что я ни с кем из них не трахаюсь, однако воспитание не позволяет. Вместо этого мачеха переводит разговор на нейтральные темы, через положенные три минуты изящно закругляется и возвращается к отцу, чтобы объяснить ему последнюю примочку. Я вижу, как взбудораженные Штейнфельды проводят беседу с Эли и, без сомнения, дают ему нахлобучку за то, что он поселился с богомерзким язычником, одновременно строго предостерегая его держаться подальше и от того маленького *файгелех* , если (ой! вей!) еще не поздно. Неподалеку и Нед со своей матерью, тоже воплощающие сцену на тему конфликта поколений. До моего слуха доносятся

обрывки фраз: «Сестры молятся за тебя… припади к Святому Кресту… эпитимья… четки… твой крестный… искус… иезуит… иезуит… иезуит…» Поблизости в одиночестве стоит Оливер. Наблюдает. Улыбается своей венерианской улыбкой. Прямо пришелец какой-то, наш Оливер, обитатель летающей тарелки.

Я считаю Оливера обладателем самого глубокого ума во всей нашей компании. Его знания не настолько обширны, как у Эли, он не производит столь яркого впечатления, во я уверен, что его интеллект гораздо мощнее. А еще он — самый странный из нас, потому что внешне кажется таким здоровым и нормальным, но в действительности это не так. Эли из нас самый сообразительный, но и самый страдающий, самый озабоченный. Нед выступает в роли нашего слабака, нашего голубенького, но не стоит его недооценивать: он всегда знает, чего хочет, и знает, что добьется желаемого. А я? Что можно сказать обо мне? Обычный посредственный школяр. Правильные семейные связи, правильная студенческая община, правильные клубы. В июне я выпускаюсь и после этого заживу счастливо. Звание офицера ВВС — это да, но никакой действительной службы; все уже решено, наши

гены считаются слишком драгоценными, чтобы ими разбрасываться — а потом я подыскиваю подходящую дебютантку в лоне епископальной церкви, патентованную, девственницу, принадлежащую к одному из семейств (первой сотни, и начинаю вести жизнь джентльмена. Господи Иисусе! Слава Богу, что эта самая «Книга Черепов» — не что иное, как суеверная чепуха. Если бы мне пришлось жить вечно, я бы уже лет через двадцать надоел бы себе до смерти.

15. ОЛИВЕР

Когда мне было шестнадцать, я много думал о самоубийстве. Честно. Это была не поза, не романтичная подростковая драма, выражение того, что Эли назвал бы «волевой личностью». Это была подлинно философская позиция (если можно употребить столь звучный термин), к которой я пришел строго логическим путем. К размышлению о самоубийстве меня в первую; очередь подтолкнула смерть отца в тридцать шесть лет. Это казалось невыносимой трагедией. Дело не в том,) что он для всех, кроме меня, представлялся каким-то особым существом. В конце концов он был простым фермером из Канзаса. Вставал в пять утра, в девять вечера ложился. Никакого образования. Читал он лишь местную газету да иногда Библию, хотя по большей части ничего там не понимал. Но он вкалывал всю свою недолгую жизнь. Был хорошим человеком, преданным своему делу. Поначалу эта земля принадлежала моему деду, и отец работал на ней с десяти лет, прервавшись лишь на время службы в армии; он возделывал поля, возвращал долги,

более-менее сводил концы с концами, сумел даже прикупить сорок акров и подумывал о дальнейшем расширении. Между тем он женился, осчастливил женщину, произвел на свет детей. Он был простым человеком — не смог бы понять, что произошло в этой стране за десять лет после его смерти, — но человеком достойным, заслужившим право на спокойную старость. Он мог бы посиживать на террасе, попыхивать трубочкой, по осени ходить на охоту, заставлять сыновей трудиться до седьмого пота и присматривать за внучатами. Он не дожил до счастливой старости. Не дожил даже до средних лет. Рак расползся по его внутренностям, и он умер в мучениях, но быстро.

Это заставило меня задуматься. Если ты можешь окончить свои дни таким образом, если ты должен ходить под смертным приговором все свои дни и не знать, когда он будет приведен в исполнение, зачем вообще жить? Зачем давать Смерти возможность заявить свои права на тебя, когда ты меньше всего к этому готов? Уйди сам, уйди пораньше. Ускользни от насмешки судьбы, которая накажет тебя.

Цель жизни моего отца, как я ее понимал, состояла в том, чтобы идти по пути, предначертанному

Господом, и выплатить закладную за землю. Он преуспел в первом и был близок к выполнению второго. У меня были более честолюбивые планы: получить образование, подняться над грязью полей, стать врачом, ученым. Как звучит? *Нобелевская премия в области медицины присуждается доктору Оливеру Маршаллу, который сумел выбраться из табакожующего невежества Кукурузного Пояса и стать примером для всех нас* . Но разве моя цель отличается чем-нибудь, кроме масштабов, от цели моего отца? Для нас обоих все это сводилось к жизни, состоящей из тяжелой работы, честного труда.

Я не мог с этим мириться. Копить деньги, проходить тестирование, добиваться стипендии, изучать латынь и немецкий, анатомию, физику, химию, биологию, ломать голову над проблемами более трудными, чем те, с которыми приходилось сталкиваться моему отцу — а потом умереть? Умереть в сорок пять, пятьдесят пять, шестьдесят пять или, может быть, в тридцать шесть, как отец? Самое время уйти в тот момент, когда ты готов начать жить. Стоит ли вообще пытаться жить? Зачем подставляться насмешке судьбы? Посмотрите на президента Кеннеди: отдать все силы и опыт, чтобы попасть в Белый дом, а потом

получить пулю в голову. Жизнь — напрасная трата времени. Чем большего добьешься, тем горше будет умирать. Мне, с моим честолюбием, с моими устремлениями. Просто я настраивал себя на более затяжное падение, чем большинство людей. Так как мне все равно умирать рано или поздно, я решил перехитрить Смерть, покончив с собой до того, как меня начнут подталкивать к неизбежному.

Так я сказал себе в шестнадцать лет. Я составил список возможных способов. Перерезать вены? Открыть газ? Надеть на голову полиэтиленовый пакет? Разбиться на машине? Найти где-нибудь в январе полынью? У меня было пятьдесят различных планов. Я расположил их по степени привлекательности. Перетасовал. Сравнивал быстрые, но мучительные варианты с медленными, но безболезненными. В течение, наверное, полугода я изучал самоубийство в теории точно так же, как Эли зубрит неправильные глаголы. За эти шесть месяцев умерли мои бабушка и дедушка. Сдохла моя собака. Мой старший брат погиб на войне. У матери случился первый сердечный приступ, и доктор в разговоре с глазу на глаз сказал мне, что она не протянет и года, что после подтвердилось. Все это должно было укрепить

мою решимость: уходи, Оливер, уходи сейчас, пока жизненная трагедия не подобралась к тебе вплотную! Все равно тебе умирать, как и любому другому, так чего же ждать? Умри сейчас. Сейчас. Избавь себя от массы хлопот.

Впрочем, как ни странно, мой интерес к самоубийству понемногу исчез, даже несмотря на то, что философия моя, в общем-то, не изменилась. Я перестал составлять списки вариантов самоубийства. Я начал планировать жизнь, решил бороться со Смертью вместо того, чтобы без сопротивления отдаться ей. Я поступлю в колледж, я стану ученым, я изучу все, что смогу, и, возможно, мне удастся немного раздвинуть пределы Страны Смерти. Теперь я знаю, что никогда не убью себя. Я вообще не собираюсь этого делать. Я буду сражаться до конца, а если Смерть придет, чтобы посмеяться мне в лицо, что ж, я рассмеюсь в ответ. А если все-таки «Книга Черепов» истинна? А вдруг действительно существует возможность избежать Смерти? Вот смеху-то было бы, если бы я перерезал себе вены пять лет назад.

За сегодняшний день я проехал, должно быть, уже не меньше четырех сотен миль, хотя полдень еще не наступил. Дороги здесь великолепные — широкие, прямые, пустые. Следующий го-

род — Амарилло. Потом — Альбукерке. Дальше — Финикс. А потом в конце концов мы начнем выяснять множество новых вещей.

16. ЭЛИ

Как странно выглядит здешний мир. Техас, Нью-Мексико. Лунный пейзаж. Почему вообще кому-то вздумалось поселиться в таких местах? Широкие коричневые плато, отсутствие травы; лишь кривые, чахлые, малорослые, грязные серо-зеленые растения. Голые пурпурные горы, зазубренные и острые, очерчивающие ярко-голубой горизонт, будто выщербленные зубы. Я думал, на западе горы выше. Тимоти, побывавший везде, говорит, что настоящие горы — в Колорадо, Юте, Калифорнии, а это — просто холмы высотой по пять-шесть тысяч футов. Я был потрясен, узнав это. Самая большая вершина к востоку от Миссисипи — гора Митчелл в Северной Каролине: что-то около шести тысяч семисот футов. Я проиграл пари насчет этого лет в десять и поэтому так хорошо все запомнил. До этой поездки самой высокой для меня была гора Вашингтон — около шести тысяч футов — в Нью-Гемпшире, куда родители взяли меня с собой в тот год, когда мы не поехали на Катскилл. (Спорил-то я насчет горы Вашингтон. Я ошибся.) А здесь повсюду вокруг

меня были горы такой же высоты, но считались всего-навсего холмами. У них, наверное, даже и имен-то нет. Вашингтон нависала на фоне неба, как гигантское дерево, которое вот-вот может рухнуть и погрести меня под обломками. Здесь, конечно, обзор пошире, ландшафт открытый: в перспективе горы казались ниже.

Воздух свеж и прохладен. Небо невероятной голубизны и прозрачности. Это апокалиптический край: так и ждешь, что с «холмов» вдруг раздастся трубный глас. Чудный трубный глас по гробницам земным про-, гремит и приведет их к трону. И Смерть будет посрамлена. Мы проезжаем по тридцать-сорок миль от да до города, а по дороге нам попадаются лишь зайцы, белки, всякая мелочь. Сами города выглядят новыми: заправочные станции, вереницы мотелей, небольшие квадратные домики из алюминия, у которых такой вид, словно их можно прицепить к автомобилю я отбуксировать куда-нибудь в другое место. (Возможно, так оно и есть.) А с другой стороны, мы миновали и два пуэбло, которым по меньшей мере лет шестьсот-семьсот, и много таких нам еще встретятся по пути. Мысль о том, что там есть настоящие индейцы, живые индейцы, расхаживающие по поселку, мелька-

ет в моем манхеттенизированном мозгу. В тех цветных фильмах, что я в течение многих лет каждую субботу смотрел на Семьдесят третьей улице и Бродвее, индейцев было в изобилии, но я никогда не питал иллюзий на этот счет: своим холодным мальчишеским рассудком я понимал, что это просто пуэрториканцы или мексиканцы, выряженные в бутафорские перья. Настоящие индейцы принадлежали девятнадцатому столетию, они уже давно вымерли, и их не осталось нигде, кроме как на пятицентовой монетке с бизоном на обратной стороне, а когда вы в последний раз видели бизона? Индейцы были архаизмом, индейцы для меня находились в одном ряду с мастодонтами, тиранозаврами, шумерами, карфагенянами. Но нет, вот я впервые оказался на Диком Западе, и тот плосколицый бронзовокожий человек, продавший нам в лавке пиво к обеду, был индейцем, и тот малыш, который заливал нам в бак бензин, тоже индеец, и те глинобитные хижины на другом берегу Рио-Гранде заселены индейцами, хоть я и различаю лес телевизионных антенн, поднимающихся над саманными крышами. Посмотри на индейцев, Дик! Посмотрите на те огромные кактусы! Джейн, смотри, индеец едет на «фольксвагене»!; Видели,

как Нед подрезал этого индейца! Послушайте, как индеец сигналит!

Мне кажется, что наша вовлеченность в это приключение усилилась после того, как мы достигли пустыни. Во всяком случае у меня. Тот страшный день! сомнений, когда мы проезжали через Миссури, теперь) выглядит таким же далеким прошлым, как и времен» динозавров. Теперь я знаю (откуда? Как я могу эта утверждать?), что все, описанное в «Книге Черепов», ; существует, и то, что нам предстоит отыскать на просторах Аризоны, тоже существует, и что, если мы преодолеем все трудности, нам будет даровано то, к чему мы стремимся. И Оливер это знает. За прошедшие несколько дней в нем явственно проступила какая-то фатальная, неестественная целеустремленность. Нет, эта одержимость одной идеей присутствовала в нем всегда, но ему удавалось скрывать ее. Теперь же, когда он по десять-двенадцать часов кряду сидит за рулем и его буквально силой приходится вытаскивать с водительского места, он совершенно ясно дает понять, что для него нет ничего более значимого, чем добраться до конечной цели нашей поездки и предаться наставлениям Хранителей Черепов. Даже оба наших неверующих исполняются верой.

Нед, как обычно, колышется между абсолютным приятием и абсолютным отрицанием, часто занимая обе позиции одновременно; он высмеивает нас, подкалывает, но все же изучает карты и выверяет маршрут, будто в той же степени, что и мы, охвачен нетерпением. Нед — единственный из известных мне людей, кто способен на рассвете сходить к заутрене, а в полночь отслужить черную мессу, не ощущая ни малейшей несовместимости, с одинаковым рвением отдаваясь обоим обрядам. Тимоти по-прежнему держится отстраненно, стоя в позе беззлобного насмешника, и утверждает, что просто решил составить компанию в этом паломничестве своим чокнутым соседям по комнате; но в какой степени это — лишь фасад, демонстрация подобающего аристократического хладнокровия? Полагаю, в большей, чем может показаться. У Тимоти гораздо меньше причин, чем у всех нас, жаждать сверхъестественного продления жизни, поскольку его нынешняя жизнь уже сейчас предоставляет ему бездну возможностей — при его-то финансовых ресурсах. Но деньги — еще не все, и тебе не протянуть больше положенных семи десятков, даже если получишь в наследство весь Форт-Нокс. Образ Дома Черепов искушает,

как мне кажется, и его. Искушает и его.

К тому времени, когда завтра-послезавтра мы достигнем цели, я думаю, мы сплотимся в устойчивую четырехстороннюю формацию, которую «Книга Черепов» именует «Вместилищем»: то есть мы станем группой кандидатов. Будем надеяться. Ведь, кажется, в прошлом году было столько шума насчет студентов со среднего запада, которые привели в исполнение соглашение о самоубийстве? Да. Вместилище можно считать философской антитезой соглашению о самоубийстве. И то, и другое содержит проявление отчуждения от современного общества. Я полностью отвергаю ваш мерзкий мир, говорит участник соглашения, поэтому выбираю смерть. Я полностью отвергаю ваш мерзкий мир, говорит участник Вместилища, поэтому выбираю бессмертие в надежде дожить до лучших дней.

17. НЕД

Альбукерке. Ужасно унылый город, тянущиеся на многие мили пригороды, бесконечная цепь аляповатых мотелей вдоль шоссе номер 66, какой-то жалкий, недоделанный Старый город для туристов где-то в дальнем конце. Если бы я приехал на запад туристом, то подайте мне как мимимум Санта-Фе с его глинобитными магазинчиками, симпатичными улочками на холмах, с его настоящими остатками испанского колониального прошлого. Но в ту сторону мы не поедем. Здесь мы сворачиваем с 66-й магистрали и катим на юг по 85-й и 25-й почти до мексиканской границы, а от Лас-Крусеса — по шоссе номер 70, которое приведет нас в Финикс. Сколько мы уже едем? Два, три, четыре дня? Я полностью утратил ощущение времени. Сижу, наблюдая час за часом, как ведет Оливер, иногда садимся за руль я или Тимоти, а колеса крутятся у меня в душе, карбюратор горит у меня в брюхе, грань между пассажиром и водителем стирается. Мы все — одно целое с этим фыркающим чудовищем, несущимся на запад. Разметавшаяся, загазован-

ная Америка .осталась позади. Чикаго теперь — лишь воспоминание. Сент-Луис — просто дурной сон. Джоплин, Спрингфилд, Талса, Амарилло — почти бесплотная нереальность. Континент измученных лиц и мелких душонок перестал существовать. Пятьдесят миллионов тяжелых случаев менструальных спазм происходят к востоку от нас, а нам начхать. Эпидемия подростковой эякуляции распространяется по огромным урбанизированным мегаполисам. Все гетеросексуалы мужского пола старше семнадцати в Огайо, Пенсильвании, Мичигане и Теннесси поражены вспышкой кровоточащих геморроев, а Оливер увозит нас все дальше и плевать на все хотел.

Мне нравятся эти места: открытые, несуетные, есть в них что-то вагнеровское, какой-то дух старых добрых времен; так и видишь мужчин с галстуками-тесемками и в необъятных шляпах, спящих индейцев, склоны, поросшие полынью, и знаешь, что это правильно, все именно так, как и должно быть. В то лето, когда мне стукнуло восемнадцать, я побывал здесь, прожив большую часть времени в Санта-Фе, деля жилье с одним обветренным, загорелым торгашом индейскими сувенирами лет сорока. Разговорчивым ов не был: он и шепелявил, и акцент у него был

жуткий, сущая баба. В числе многого другого он научил меня водить машину. Весь август я разъезжал по его поставщикам, закупая товар: старые горшки, которые этот тип скупал по пятерке за штуку, а продавал охочим до антиквариата туристам по полтиннику. Низкие накладные расходы — быстрый оборот. В одиночестве, едва отличая сцепление от локтя, я совершал невероятно длинные поездки, ездил и в Берналилло, и в Фармингтон, добирался до Рио-Пуэрко, даже предпринял продолжительную экспедицию в Хопи; в нарушение местных законов в области археологии фермеры рыщут по нераскопанным развалинам пуэбло и тащат оттуда все, что можно продать. Встречал я и немало индейцев, многие из которых (подумать только!) голубые. До сих пор приятно вспомнить одного классного навахо. И щеголеватого тао, который, убедившись в моей дееспособности, взял меня с собой в киву[13] на некое племенное таинство, в результате чего я получил доступ к таким этнографическим данным, что многие ученые, несомненно, согласились бы за них позволить снять с себя скальп. Большой опыт. Расширение кругозора. Я просто хочу дать

[13] Примечания: 13
Место проведения религиозных обрядов в пуэбло.

понять миру, что если ты педик, то расширяется не только дырка у тебя в заднице.

В тот день случился инцидент с Оливером. Я гнал по 25-му шоссе где-то между Беленом и Сокорро, ощущая легкость и свободу, впервые чувствуя себя хозяином автомобиля, а не какой-то там шестеренкой. В полумиле впереди я заметил фигуру, бредущую по обочине, видать, «автостопник». Я машинально замедлил ход. Все верно: «стопник», более того — хиппи, безупречная модель 1967 года, с длинными немытыми лохмами, в овчинном жилете на голое тело, со звездно-полосатой заплатой на тыльной части протертых до ниток джинсов, с рюкзачком, босой. Наверное, направляется в какую-нибудь пустынную коммуну, бредя из неоткуда в никуда. Что ж, в каком-то роде мы тоже катим в некую коммуну, и я почувствовал, что мы должны подобрать его. Я затормозил почти до полной остановки. Он поднял глаза, явно поддавшись мгновенной панике, слишком часто, вероятно, сталкиваясь с разными подвохами, но выражение страха сошло с его лица, когда он увидел, что мы — просто пацаны. Он ухмыльнулся, обнажив щербатые зубы, и я почти услышал, как он бормочет слова благодарности: «это самое, чувак, как клево с твоей стороны меня

подобрать, это самое, идти долго, а ведь ни одна сволочь не поможет». Но Оливер вдруг просто сказал: «Нет».

— Нет?

— Езжай дальше.

— Но в машине есть место, — возразил я.

— Не хочу терять время.

— Но, Оливер, парень ведь совершенно безвредный! А здесь проезжает, быть может, одна машина в час. Будь ты на его месте…

— Откуда ты знаешь, что безвредный? — спросил Оливер. Сейчас хиппи находился примерно в сотне футов от того места, где я остановился. — А вдруг он из семьи Чарльза Мэнсона? — тихо продолжал Оливер. — А вдруг его работа — резать ребят, что распускают сопли при виде хиппи?

— Ничего себе! Ты что, рехнулся?

— Поезжай, — сказал он зловеще-ровным голосом прерии, предвещающей смерч, голосом типа «чтоб вечером, ниггер, и духу твоего в городе не было». — Он мне не нравится. Я отсюда чую, как от него воняет. Не хочу, чтобы он садился в машину.

— Сейчас за рулем я, мне и решать насчет…

— Поезжай, — вмешался Тимоти.

— И ты тоже?

— Оливер не хочет его, Нед. Ты ведь не собираешься навязать его Оливеру против воли?

— О Господи, Тимоти…

— Кроме того, это моя машина, а я тоже его не хочу. Жми на газ, Нед.

Сзади послышался голос Эли, тихий и озадаченный:

— Погодите секундочку, ребята, по-моему, здесь нужно обсудить одну моральную проблему. Если Нед хочет…

— *Так ты поедешь?* — Оливер почти сорвался на крик, чего я никогда от него не слышал.

Я бросил взгляд в зеркало заднего вида. На побагровевшем лице Оливера проступили капельки пота, на лбу вздулась вена. Лицо маньяка, психопата. Он способен на все. Я не мог рисковать ради какого-то хиппи. Печально покачав головой, я нажал на педаль, и как раз в тот момент, когда хиппи потянулся к ручке со стороны Оливера, машина с ревом сорвалась с места, оставив его ошарашенно стоять в облаке выхлопных газов. К его чести, надо сказать, что он не махал нам кулаком, даже не плюнул в нашу сторону, а лишь опустил плечи и побрел дальше. Возможно, он с самого начала ожидал подвоха. Когда хиппи пропал из виду, я снова посмотрел

на Оливера. Теперь его лицо выглядело поспокойней: вена спала, кровь отхлынула. Но в нем еще оставалась какая-то потусторонняя леденящая неподвижность. Уставившиеся в одну точку глаза, подергивающаяся нежная мальчишеская щека. Мы проехали не меньше двадцати миль, прежде чем обстановка в салоне разрядилась.

Наконец я спросил:

— Почему ты это сделал, Оливер?

— Что сделал?

— Заставил меня наколоть этого хиппи.

— Я хочу скорее добраться туда, куда еду, — сказал Оливер. — Ты видел, чтобы я хоть раз кого-нибудь подбирал? Эти «стопники» — всегда проблема. Тебе пришлось бы везти его до общины, а это означало бы сбой графика на час-другой.

— Не повез бы. Кроме того, ты пожаловался на его вонь. Ты разволновался, как бы он тебя не пырнул. Что с тобой, Оливер? У тебя что, паранойя прорезалась из-за твоих длинных волос?

— Возможно, голова не очень четко работала, — ответил Оливер, который всегда мыслил самыми что ни на есть четкими категориями. — Возможно, я так был поглощен желанием двигаться вперед, что наговорил того, чего не хотел, — продолжал Оливер, который никогда не

говорил иначе, кроме как по подготовленному сценарию. — Не знаю. Просто нутром почуял, что не стоит его брать, — произнес Оливер, который что-то чуял нутром в последний раз, вероятно, когда его учили ходить на горшок. — Извини, что наехал на тебя, Нед.

После десяти минут молчания он сказал: — Полагаю, что нам все-таки нужно согласиться в одном: с этого момента до конца поездки никаких пассажиров. Договорились? Никаких.

18. ЭЛИ

Они правильно сделали, выбрав эти суровые, изрытые складками холмов места для Дома Черепов. Древним культам требуется обрамление в виде тайны и романтической отстраненности, если они хотят подняться выше взаимосталкивающихся, гнусавых резонансов скептического, материалистичного двадцатого века. Пустыня — идеальное место. Воздух здесь ослепительно голубой, земля — тонкая, спекшаяся корка на щите скалистой породы, растения и деревья искорежены, покрыты колючками, причудливы. В таких местах время останавливается. Современный мир неспособен сюда вторгнуться или осквернить их. Древние боги могут здесь расти пышным цветом. Старинные песнопения, не засоряемые шумом дорожного движения и грохотом машин, поднимаются к небу. Когда я сказал об этом Неду, он не согласился, ответив, что пустыня — место слишком театральное и очевидное, даже немного старомодное, а подходящим местом для осколков древности, вроде Хранителей Черепов, был бы центр какого-нибудь оживленного горо-

да, где контраст между нами и ними наиболее разительный. Например, дом коричневого камня на Восточной 63-й улице, где священнослужители могли бы в свое удовольствие отправлять обряды бок о бок с художественными галереями и собачьими парикмахерскими. Другим предложенным им вариантом могло бы стать какое-нибудь одноэтажное фабричное здание из кирпича и стекла по производству кондиционеров и конторского оборудования где-нибудь в промышленной зоне на окраине. Контраст, по словам Неда — это все. Несовместимость — существенна. Секрет искусства состоит в достижении чувства должного сопоставления, а что есть религия, если не категория искусства? Но мне кажется, Нед, как обычно, подкалывал меня. Как бы там ни было, я не могу проглотить его теории контраста и сопоставления. Пустыня, это сухое безлюдье — идеальное место для размещения штаб-квартиры тех, кто не собирается умирать.

Перебравшись — из Нью-Мексико в южную Аризону, мы оставили за спиной последние признаки зимы. В районе Альбукерке воздух был прохладным, даже холодным, но там высота над уровнем моря больше. По мере продвижения в сторону мексиканской границы и приближения

к повороту на Финикс уровень суши понижался. Температура же резко пошла вверх, с пятидесяти градусов до семидесяти с лишним[14], а то и больше. Горы были пониже, и как будто состояли из частиц красно-коричневой почвы, выполненной по шаблону и побрызганной клеем; казалось, что я могу кончиком пальца проковырять в породе глубокую дыру. Мягкие, уязвимые, покатые, практически голые холмы. Марсианский пейзаж. Растительность здесь тоже другая. Вместо обширных темных пятен солончаковой полыни и искореженных сосенок — леса раскидистых гигантских кактусов, фаллически торчащих из бурой, чешуйчатой земли. По ходу дела Нед просвещал нас в области ботаники. Вот это, говорит он, сагуары — кактусы с крупными отростками, выше телеграфных столбов, а те кустистые, с остроконечными ветвями, сине-зеленые деревья без листьев, которые вполне могли бы расти на какой-нибудь другой планете, называются «пало верде», а торчащие пучки деревянистых веток зовутся «окотилло». Юго-запад хорошо известен Неду. Он чувствует себя здесь почти как дома, потому что несколько лет назад провел

[14] Примечания: 14
50о по Фаренгейту — 10о по Цельсию; 70о F=21о С.

в Нью-Мексико довольно много времени. Этот Нед везде как дома. Любит он рассказывать про международное братство голубых: куда б его ни забросила судьба, он всегда уверен, что найдет компанию и крышу над головой среди Себе Подобных. Иногда я ему завидую. Возможно, стоит смириться со всеми побочными неудобствами жизни гомосексуалиста в нормальном обществе, когда знаешь, что есть места, где тебе всегда рады лишь потому, что ты принадлежишь к данному племени. Уж мое-то племя таким гостеприимством не отличается.

Мы пересекли границу штата и направились на запад, в сторону Финикса. Рельеф снова на некоторое время стал гористым, а местность — менее отталкивающей. Здесь индейская страна — Пимас. Успели заметить мы и плотину Кулиджа — воспоминание об уроках географии в третьем классе. Еще за сотню миль до Финикса нам стали попадаться щиты с приглашениями — нет, приказами — остановиться в одном из городских мотелей: «Проведите отпуск в „Солнечной Долине“ хорошо!» Предвечернее солнце вовсю жарило нас, неподвижно зависнув над ветровым стеклом и испуская лучи золотисто-красного цвета прямо в глаза, и Оливер, который

гнал как заведенный, нацепил пижонские солнцезащитные очки с зеркальным покрытием. Мы проскочили городишко, именуемый Майами, но без пляжей и светских дам в мехах. Воздух здесь был розовато-пурпурным из-за клубящегося из труб дыма: атмосфера отчетливо пахла Освенцимом. Кого они здесь кремируют? Неподалеку от центральной части города мы увидели огромную, в форме боевого корабля, серую кучу отвалов медного рудника, исполинскую гору остатков добычи, выросшую за долгие годы. Прямо через дорогу стоял гигантский мотель, предназначенный, по всей видимости, для тех, кто рыщет в поисках натурных картин насилия над природой. А кремируют они здесь Мать-Природу.

Ощутив отвращение к городу, мы поспешили вырваться в необитаемые места. Сагуары, пало верде, окотилло. Мы пронеслись по длинному тоннелю, проложенному в толще горы. Пустынная, незаселенная земля. Удлиняющиеся тени. И жара, жара, жара. А потом вдруг неожиданно появляются кончики щупальцев городской жизни еще далекого Финикса: предместья, торговые центры, лавчонки с индейскими сувенирами, мотели, неоновые огни, киоски-закусочные, где продают такое, омлет, сосиски, жареных цыплят,

сэндвичи. Мы уговорили Оливера остановиться и поели такое под мрачноватым желтым светом уличных фонарей. И дальше. Серые пластины огромных универмагов без окон окаймляют шоссе. Здесь — земля денег, дом для богатых. Я был чужаком в чужой стране, бедным, потерявшим ориентиры, посторонним жиденком из Верхнего Вест-Сайда, проносящимся между кактусов и пальм. Так далеко от дома. Эти плоские города, эти сверкающие одноэтажные аквариумы из зеленого стекла с психоделическими пластиковыми вывесками. Дома в пастельных тонах, розовая и зеленая штукатурка. Земля, никогда не знавшая снега. Американские флаги плещутся на ветру. Или люби, или пошел вон!

Главная улица, Меса, Аризона. Университет экспериментального фермерства Аризоны прямо рядом с шоссе. Отдаленные горы вырисовываются в предвечерней синеве. Теперь мы на бульваре Апачей в городе Темпе. Визг колес: дорога поворачивает. И вдруг мы оказываемся в пустыне. Ни улиц, ни рекламных щитов — ничего: земля без человека. Слева от нас темные неровные силуэты: горы, холмы. Далеко впереди виден свет фар. Еще несколько минут — и пустота заканчивается: от Темпе мы добрались до Финикса и рассекаем те-

перь Ван-Бурен-стрит. Магазины, дома, мотели.

— Езжай до центра, — говорит Тимоти.

Его семья, кажется, держит контрольный пакет акций одного из мотелей в самом городе: мы остановимся там. Еще десять минут по кварталу букинистических магазинчиков и автостоянок по пять долларов за ночь — и мы в центре. Сооружения в десять-двенадцать этажей, здания банков, редакция какой-то газеты, большие отели. Жара — фантастическая, градусов девяносто[15]. Сейчас конец марта: что-то здесь творится в августе? А вот и наш мотель. Перед зданием скульптура, изображающая верблюда. Огромная пальма.

Небольшой, тесный вестибюль. Тимоти занимается оформлением. У нас будет номер из нескольких комнат. Второй этаж, с обратной стороны здания. Бассейн.

— Кто будет плавать? — спрашивает Нед.

— А потом мексиканский ужин, — говорит Оливер. Настроение у нас повышается. Ведь это же Финикс, в конце концов. Мы действительно здесь, почти добрались до цели. Завтра направляемся на север в поисках обители Хранителей Черепов.

Будто несколько лет прошло с того, как все

---

[15] Примечания: 15
32 о С

началось. Та случайная заметка в воскресной газете. «Монастырь» в пустыне к северу от Финикса, где двенадцать или пятнадцать «монахов» исповедуют некую частную разновидность так называемого христианства. «Они пришли из Мексики лет двадцать тому назад, а в Мексику, как предполагают, попали из Испании примерно во времена Кортеса. Они ведут натуральное хозяйство, держатся замкнуто и не поощряют визитеров, хотя вполне сердечно и учтиво относятся к тем, кто попадает в их уединенное, окруженное кактусами убежище. Интерьер весьма необычен: смесь стиля христианских построек времен Средневековья с ацтекскими мотивами. Доминирующий символ, придающий монастырю внушительный, даже гротескный вид — изображение человеческого черепа. Черепа повсюду — ухмыляющиеся, мрачные, в форме барельефов или трехмерных изображений. Один длинный фриз выполнен, кажется, по образцам, которые можно увидеть в Чичен-Ица на Юкатане. Монахи худощавы, энергичны; под воздействием пустынного ветра и солнца кожа у них продубилась и загорела. Как ни странно, они кажутся одновременно и старыми, и молодыми. Тот, с которым я разговаривал, отказался назвать свое имя; ему

может быть и тридцать, и триста лет, определить невозможно».

Заметка попалась мне на глаза, когда я рассеянно просматривал газетное приложение с объявлениями о путешествиях. Лишь по случайности фрагменты этих странных образов — фриз с черепами, старо-молодые лица — запали мне в память. И надо было такому случиться, что через несколько дней я наткнулся в университетской библиотеке на рукопись «Книги Черепов». Есть у нас в библиотеке склад отходов и диковин, обрывков рукописей, апокрифов и раритетов, которые никто не озаботился перевести, расшифровать, классифицировать или хотя бы детально изучить. Полагаю, что в каждом большом университете должно быть подобное хранилище, забитое мешаниной документов, полученных по завещанию или добытых во время экспедиций, ожидающих (по двадцать лет? по пятьдесят?), когда исследователи в конце концов обратят на них внимание. Наше хранилище заполнено в большей степени, чем другие, ему подобные, вероятно потому, что три поколения библиотекарей — строителей империи жадно занимались стяжательством, накапливая антикварные сокровища с большей скоростью, чей целый батальон

ученых мог бы управиться с поступлениями. При такой системе некоторые единицы неизбежно теряются, затопляемые потоком новых приобретений. Так получилось, что у нас есть полки, забитые шумерскими и вавилонскими клинописными табличками, основная часть которых была добыта во время славных раскопок 1902 — 1905 годов в южной Месопотамии; есть у нас целые рулоны нетронутых папирусов времен поздних династий; имеются и горы материалов из иракских синагог, причем не только свитки Торы, но и брачные контракты, судебные приговоры, договоры об аренде, поэзия; есть у нас и тамарисковые палочки с надписями из пещер Тунгуаня, забытый дар, давным-давно полученный от Орела Штейна; и ящики приходских записей из затхлых архивов холодных замков Йоркшира; а так же кучи церковных гимнов и месс из пиренейских монастырей четырнадцатого столетия. Насколько всем известно, в нашей библиотеке может найтись нечто вроде Розетте кого камня[16]

[16] Примечания: 16

Каменная плита, найденная в Египте близ города Розетты, с помощью которой были расшифрованы египетские иероглифы.

для расшифровки надписей Мохенджо-Даро[17], здесь может оказаться учебник этрусской грамматики императора Клавдия, могут храниться не внесенные ни в какие каталоги мемуары Моисея или дневник Иоанна Крестителя. Все эти открытия, если они вообще будут сделаны, ждут своих старателей в полутемных, пыльных ходах под главным зданием библиотеки. Но я оказался тем, кто обнаружил «Книгу Черепов».

Я ее не искал. Никогда даже не слышал о ней. Я выбил разрешение отправиться под своды хранилища на поиски рукописного собрания каталонской мистической поэзии XIII века, купленного предположительно у барселонского антиквара Хайме Мауры Гудиола в 1893 году. Профессор Васкес Оканья, с которым я, по всеобщему мнению, сотрудничаю по части переводов с каталонского, слышал о собрании Мауры лет тридцать-сорок назад от своего профессора и смутно припоминал, что имел дело с несколькими подлинными рукописями. Проверив пожелтевшие регистрационные карточки, исписанные коричневатыми чернилами прошлого века, я выяснил с наибольшей степенью вероятности

[17] Примечания: 17

Археологические раскопки в Западном Пакистане, на месте существования одной из древнейших цивилизаций Индостана.

местонахождение собрания Мауры под сводами хранилища и отправился на поиски. Темная комната; запечатанные коробки; уходящие в бесконечность картонные папки; все безуспешно. Я кашлял, задыхаясь; пальцы мои почернели, лицо покрылось пылью. И вдруг — жесткие красные бумажные корочки с чудесно иллюстрированной рукописью на листах тонкого пергамента. Богато изукрашенное название: «Liber Calvarium». «Книга Черепов». Заглавие завораживающее, зловещее, романтичное. Я перевернул страницу. Изящное, четкое, ясное унциальное письмо десятого-одиннадцатого столетия; текст не на латыни, а на тяжеловесном латинизированном каталонском. Я машинально перевел. «Услышь это, о Благороднорожденный: жизнь вечную тебе предлагаем». Более бредового вступления я еще не встречал. Уж не ошибся ли я? Нет, все правильно: «…жизнь вечную тебе предлагаем». Текст первой страницы поддавался переводу труднее, чем начальная фраза; по нижнему обрезу листа и на левой кромке изображены восемь прекрасно вырисованных человеческих черепов, каждый из которых отделялся от последующего небольшим романским сводом на колоннах. Лишь один из черепов имел нижнюю челюсть. Еще один зава-

лился набок. Но они все ухмылялись, и какая-то чертовщинка чудилась в их пустых глазницах. Черепа как бы говорили из замогилья: «Неплохо бы тебе узнать то, что познали мы».

Я сел над коробкой со старинными пергаментами и быстро перелистал рукопись. Двенадцать или около того листов, украшенных гротескной символикой в загробном духе — перекрещенные бедренные кости, перевернутые могильные камни, один или два расчлененных таза и черепа, черепа, черепа. Перевести все это тут же превышало пределы моих возможностей: большая часть лексики была туманна, не относилась ни к латыни, ни к каталонскому, но к какому-то неясному, призрачному промежуточному языку. И все же основной смысл находки дошел до меня довольно быстро. Текст был адресован некоему герцогу настоятелем монастыря, которому тот покровительствовал, и представлял собой в общих чертах приглашение оставить светские утехи ради участия в неких «таинствах» монастырского ордена. Послушание монахов, по словам настоятеля, имело целью победу над Смертью, причем он подразумевал не торжество духа в мире ином, но, скорее, торжество тела уже в этом мире. «Жизнь вечную тебе предлагаем». Меди-

тация, душевные и физические упражнения, соответствующая диета и так далее — вот врата бесконечной жизни.

Час кропотливой работы дал мне следующее:

«Первое Таинство таково: подобно тому как череп располагается под лицом, так и смерть сопровождает жизнь. Но, о Благороднорожденный, нет в том противоречия, ибо смерть есть спутница жизни, а жизнь есть посланница смерти. Если некто сумеет добраться через лицо к находящемуся под ним черепу и подружиться с ним, то он сможет…

(Дальше неразборчиво.)

Шестое Таинство таково: поскольку дар наш всегда презираем и мы всегда будем изгнанниками среди людей, мы бежим от места к месту, от пещер на севере к пещерам юга, от… (неразборчиво) полей к… (неразборчиво) града, и было так все столетия моей жизни и столетия жизни моих предшественников…

Девятое Таинство таково: ценой жизни всегда должна быть жизнь. Знай, о Благороднорожденный, что вечности должны быть уравновешены умираниями, и поэтому мы просим тебя с готовностью поддержать предначертанное равновесие. Двоих из вас мы обязуемся допустить в

наше общество. Двое должны уйти во тьму. Как посредством жизни мы умираем ежедневно, так и посредством умирания мы будем жить вечно. Есть ли среди вас один, который отвергнет вечность ради братьев своих из четырехугольника, чтобы они смогли постичь значение самоотречения? И есть ли среди вас один, которого его товарищи готовы принести в жертву, с тем чтобы они смогли постичь значение исключения? Пусть жертвы изберут себя сами. Пусть определят они качество своих жизней по качеству их ухода…»

Всего Таинств насчитывалось девятнадцать, а завершалась рукопись совершенно непонятным стихом. Я был покорен. Меня захватило скорее внутреннее очарование текста, его мрачноватая красота, зловещие украшения, напоминающий звуки гонга ритм, чем его непосредственная связь с тем монастырем в Аризоне. Естественно, вынести рукопись из библиотеки было невозможно, но я поднялся наверх, подобно угрюмому призраку, явившемуся из-под сводов, и договорился насчет рабочей кабинки в недрах стеллажей. Затем я отправился домой и помылся, не сказав Неду о своем открытии ни слова, хотя он и заметил, что я чем-то поглощен. После этого я вернулся в библиотеку, вооружившись бумагой

для записей, карандашами и своими словарями. «Книга Черепов» уже дожидалась меня на заказанном столике. Я бился над текстом в своей плохо освещенной келье до десяти вечера, до самого закрытия. Да, никаких сомнений: эти испанцы имели в виду некую методику достижения бессмертия. Рукопись не раскрывала конкретных деталей этих процессов, но лишь настаивала на их успешности. Здесь было много символики насчет черепа, скрывавшегося под лицом: для ориентированного на продление жизни культа они слишком увлекались мотивами смерти. Возможно, это было необходимое отсутствие последовательности, ощущение диссонирующего сопоставления, которому Нед уделял столько внимания в своих эстетических теориях. Текст недвусмысленно давал понять, что некоторые, если не все, из этих поклоняющихся черепам монахов прожили столетия. (А может быть, и тысячелетия? В одном двусмысленном пассаже из Шестнадцатого Таинства содержится намек на происхождение из дофараоновых времен.) Их живучесть явно вызывала к ним недоброе отношение со стороны окружавших их смертных крестьян, пастухов и баронов: они неоднократно были вынуждены менять свое местонахождение,

стремясь найти такое пристанище, где смогли бы в мирной обстановке исполнять свои обряды.

После трех дней тяжких трудов я довольно точно перевел процентов восемьдесят пять текста, а остальное понял достаточно хорошо. В основном все сделал сам, хотя консультировался с профессором Васкесом Оканьей насчет некоторых особо заковыристых фраз, не раскрывая, впрочем, сути своего занятия. (На его вопрос о том, не найден ли тайник Мауры Гудиола, я дал неопределенный ответ.) К этому моменту я все еще считал это очаровательной выдумкой. «Потерянный горизонт» я читал еще в детстве; вспоминал о Шанг-ри-Ла, тайном монастыре в Гималаях, о монахах, занимавшихся йогой и дышавших чистым воздухом, ту потрясную строчку: «Что вы все еще живы, отец Перро». Никто не воспринимал всерьез подобные штуки. Я воображал, что опубликую свой перевод в… ну, скажем, в «Спекьюлум», с соответствующими комментариями насчет средневековых верований, связанных с бессмертием, со ссылками на миф о Престере Джоне, на сэра Джона Мандевилля, на романы об Александре. Братство Черепов, Хранители Черепов, которые являются первосвященниками братства; Испытание, через которое одновременно должны пройти

четыре кандидата, лишь двум из которых будет позволено остаться в живых; упоминание о древних таинствах, прошедших сквозь тысячелетия… но ведь все это может оказаться одной из сказок Шахерезады, разве нет? Я не пожалел трудов на тщательное изучение всех шестнадцати томов бертоновской версии «Тысячи и одной ночи», подумав, что легенду о черепах могли принести в Каталонию мавры в восьмом или девятом веке. Нет. Что бы я ни обнаружил, это не было вольным пересказом какого-то фрагмента из «Ночей». Может быть, тогда — часть цикла о Карле Великом? Или какой-нибудь не вошедший в каталоги романский анекдот? Я обшарил объемистые указатели мифологических мотивов Средневековья. Ничего. Я стал специалистом по всей литературе о бессмертии и долгожительстве, и все это — всего за неделю. Тифон, Мафусаил, Гильгамеш, Уттаракуру и дерево Джамбу, рыбак Главк, даосские бессмертные[18]… в общем, вся библиография. А потом — вспышка озарения, пульсация во лбу, дикий вопль, на который сбежались читатели со всех углов библиотеки: Аризона! Монахи, что пришли из Мексики, а до того появились в Мекси-

[18] Примечания: 18
Мифологические персонажи, обладающие бессмертием.

ке из Испании! Фриз с черепами! Я снова отыскал ту статью в воскресном приложении. Перечитал ее в со-» стоянии, близком к исступлению. Да. «Черепа везде — ухмыляющиеся, мрачные, в виде барельефов или круглой скульптуры… Монахи худощавы, энергичны… Тот, с которым я разговаривал… ему может быть и тридцать, и триста лет, что невозможно определить». «Что вы еще живы, отец Перро». Моя пораженная душа отпрянула. Могу ли я в это поверить? Это я-то, скептик, безбожник, материалист, прагматик? Бессмертие? Культ, переживший эпохи? Неужели это возможно? Хранители Черепов, процветающие среди кактусов? И вся эта история — не миф Средневековья, не легенда, но существующая в действительности организация, проникшая даже в наш автоматизированный мир, и при желании я даже могу ее посетить? Предложить себя в качестве кандидата. Подвергнуться Испытанию. Эли Штейнфельд доживет до начала тридцать шестого столетия. Это находится за пределами мыслимого.

Я отказался рассматривать рукопись и газетную статью в качестве невероятного совпадения; затем, после некоторых размышлений, мне удалось отказаться от отвергнутого; а затем я

переступил через это в направлении приятия. Мне необходимо было совершить формальный акт веры, первый, достигнутый мною, чтобы начать принимать это. Я вынудил себя согласиться с тем, что существуют силы вне пределов охвата современной науки. Я заставил себя избавиться от укоренившейся привычки отмахиваться от неведомого, если оно не подкреплено строгими доказательствами. По доброй воле и с радостью вступил я в союз с верующими в летающие тарелки и в Атлантиду, с сайентологами и плоскоземельцами, с фортеанцами и макробиотистами, с астрологами, со всем сонмом легковерных, в компании которых я раньше редко ощущал себя уютно. В конечном итоге я уверовал. Я поверил без остатка, хоть и допускал вероятность ошибки. Потом я рассказал Неду, а затем, через некоторое время, Оливеру и Тимоти. Помахал наживкой у них перед носом. «Жизнь вечную тебе предлагаем». И вот мы в Финиксе. Пальмы, кактусы, верблюд перед мотелем: мы на месте. Завтра начнем заключительную фазу поисков Дома Черепов.

19. ОЛИВЕР

Может, я и слишком расшумелся из-за того хиппи? Не знаю. Все это происшествие меня озадачило. Обычно мотивы любого моего поступка ясны, лежат прямо на поверхности, но только не на этот раз. Я действительно раскричался и разозлился на Неда. Почему? Потом Эли мне за это выговаривал, сказав, что не мое это дело — вмешиваться в решение о помощи другому человеческому существу, принятое Недом по своей воле. За рулем был Нед: за все отвечал он. Даже Тимоти, принявший мою сторону, когда это случилось, сказал потом, что я, на его взгляд, слишком остро отреагировал на данную ситуацию. Ничего в тот вечер не сказал только Нед: но я знал, что он очень переживает.

Почему я это сделал, хотелось бы знать? Не мог же я на самом деле так торопиться попасть в Дом Черепов. Даже если бы тот бродяга отнял у нас минут пятнадцать — ну и что? Брызгать слюной из-за пятнадцати минут, когда впереди вечность? Нет, я завелся не из-за потери времени. И не из-за той чепухи насчет Чарльза Мэнсона. Насколько я

понимаю, здесь было нечто более глубокое.

Как раз в тот момент, когда Нед начал притормаживать, чтобы подсадить хиппи, меня посетила вспышка прозрения. *Этот хиппи — голубой* , подумал я. Именно в этих словах. *Этот хиппи — голубой* . Нед почуял его, сказал я себе; за счет телепатии, которой, кажется, обладают ребята этой породы. Нед почуял его прямо на шоссе, и собирается подсадить и взять с собой в мотель. Именно так я и подумал. А к этому прибавился еще и зримый образ того, как Нед и этот бродяга укладываются в постель, целуются, постанывают, перешептываются, трогают друг друга, делают все, что в аналогичных случаях нравится делать педикам. У меня не было никаких оснований подозревать такое. Хиппи как хиппи, такой же, как и миллионов пять ему подобных: босой, длинные нечесаные космы, меховой жилет, протертые джинсы. Почему я решил, что он голубой? А даже если и так, что с того? Разве мы с Тимоти не подбирали девчонок в Нью-Йорке и Чикаго? Почему Нед не может сделать то, что ему нравится? Что я имею против гомосексуалистов? Ведь один из них — мой сосед по комнате, разве нет? Один из моих лучших друзей. Я знал, что Нед представляет собой, когда он к нам вселялся. Пока он не

подкатывался ко мне, меня это не волновало. Нед нравился мне сам по себе, и плевать я хотел на его сексуальные пристрастия. Так откуда же эта внезапная вспышка на дороге? Подумай немного, Оливер. Подумай.

Может, ревность взыграла? Ты не исключаешь такой возможности, Оливер? Может быть, тебе не хотелось, чтобы Нед заводил шашни с кем-то другим? Не желаешь ли немного поразмыслить над этой посылкой?

Хорошо. Я знаю, что он мной интересуется. И всегда интересовался. Это щенячье выражение его глаз, когда он смотрит на меня, эта задумчивая мечтательность… знаю я, что это означает. Не то чтобы Нед хоть раз подбивал под меня клинья. Он боится разрушить довольно полезные дружеские отношения, переступив черту. Но даже при этом вожделение присутствует. Не собака ли на сене я тогда, раз не даю ему того, чего он хочет от меня, одновременно не позволяя получить это и от хиппи? Путаница какая-то. Но во всем надо разобраться. Моя злость, когда Нед притормозил. Крик. Истерика. У меня явно происходит какой-то внутренний срыв. Надо еще об этом подумать. Надо все увязать. Это меня пугает. Похоже, я выясню о себе нечто, чего бы мне и знать не хотелось.

20. НЕД

Теперь мы становимся сыщиками. Рыщем по всему Финиксу, пытаясь обнаружить следы Дома Черепов. Я нахожу это забавным: забраться в такую даль и не суметь сделать последнего шага. Но единственным ориентиром была газетная вырезка у Эли, которая помещает монастырь недалеко от Финикса, к северу. Однако это «недалеко от Финикса, к северу» — довольно обширное место, простирающееся отсюда до Большого каньона, то есть от границы до границы штата. Нам определенно нужна помощь.

Утром после завтрака Тимоти показал газетную вырезку, сделанную Эли, администратору — сам Эли то ли стеснялся, то ли чувствовал, что выглядит слишком по-восточному, чтобы спрашивать самому. Администратор, однако, не имел ни малейшего представления ни о каком монастыре и посоветовал навести справки в газете, что находилась прямо напротив, на другой стороне улицы. Но газета оказалась вечерней, и редакция открывалась не раньше девяти, а мы, все еще живущие по восточному времени, проснулись

в это утро очень рано. Даже сейчас было всего лишь четверть девятого. И мы отправились бродить по городу, чтобы убить сорок пять минут, разглядывая парикмахерские, газетные киоски, магазинчики индейских сувениров в ковбойских аксессуаров. Солнце светило уже ярко, а термометр на здании банка показывал аж семьдесят девять градусов. Денек обещал выдаться душным. Небо сияло отчаянной пустынной голубизной; сразу за городом виднелись бледно-коричневые горы. На улицах молчаливого города попадались лишь одинокие машины. В центре Финикса час-не-пик.

Мы почти не разговаривали. Оливер, похоже, все еще дулся из-за шума, поднятого им насчет того хиппи: он был явно в замешательстве, и не без оснований. Тимоти напустил на себя скучающий и высокомерный вид. Он ожидал увидеть Финикс более оживленным местом, динамичным центром динамичной промышленности Аризоны, и воспринял здешнее спокойствие чуть ли не как личное оскорбление. (Позже-то мы узнали, что достаточно динамично жизнь развивается в миле-другой к северу от центральной части города, где дела действительно шли в гору.) Эли был напряжен и замкнут: его, без сомнения, му-

чила мысль о том, не напрасно ли он протащил нас через весь континент. А я? Раздражен. Сухие губы, пересохшее горло. Какая-то напряженность в паху, которую я ощущаю лишь в тех случаях, когда сильно нервничаю. Напрягаются и расслабляются ягодичные мышцы. А что, если Дома Черепов и в помине не существует? А если, что еще хуже, он существует? Тогда — конец моим произвольным шатаниям и колебаниям: в атом случае придется определяться, подчиняться реальности этой штуковины, полностью предаться обрядам Хранителей или, презрительно усмехаясь, отчалить. Что я буду делать? Угроза Девятого Таинства постчь явно стоит на заднем плане зловещей, искушающей тенью. «Вечности должны быть уравновешены уничтожениями». Двое живут вечно, двое сразу же умирают. В этом предложении для меня содержится нежная, вибрирующая музыка; оно мерцает в отдалении; оно напевает влекущую песнь с обнаженных холмов. Я боюсь его и все же не могу противиться тому азарту, что в нем содержится.

Ровно в девять мы появились в редакции. Снова переговоры вел Тимоти: его простые, уверенные великосветские манеры позволяют ему в любой ситуация чувствовать себя как рыба в

воде. Преимущества породы. Он представил нас как студентов, работающих! над исследованием современной монастырской жизни/ что позволило нам миновать секретаршу и репортера?; и добраться до одного из основных авторов, который посмотрел на нашу вырезку и сказал, что ничего ни о каком монастыре в пустыне не знает (о, разочарование!), но что есть в редакции один человек, который специализируется на отслеживании коммун, центров религиозных общин и подобных поселений в окрестностях города (о, надежда!). А где сейчас этот человек? Ах, он в отпуске, сказал редактор (о, отчаяние!).: Когда он вернется? В общем-то он и не уезжал (возрождение надежды!). Отпуск проводит дома. Возможно, согласится побеседовать. По нашей просьбе редактор позвонил и добился для нас приглашения в дом этого самого специалиста по закосам.

— Он живет прямо за Бетани-Хоум-Роуд, сразу за; Центральной, в квартале шесть тысяч четыреста. Вы знаете, где это? Доезжаете до Центральной, мимо Верблюжьей спины, мимо Бетани-Хоум…

Десять минут езды. Сонный центр остался позади. . Мы проскочили в северном направлении через деловые: кварталы со стеклянными небоскребами и распластавшимися торговыми

центрами и попали в квартал современных домов впечатляющего вида, полузапрятанных в густых тропических садах. За этим кварталом шла короткая дорожка в более скромный жилой район, и по ней мы попали к человеку, который знал ответы. Звали его Джилсон. Сорок лет, сильный загар, открытый взгляд голубых глаз, высокий лоснящийся лоб. Приятный тип. Отслеживание разного рода фанатиков было для него просто увлечением, а не какой-то там навязчивой идеей: он был не из тех, кого обуревают навязчивые идеи. Да, ему известно о Братстве Черепов, хотя называет он их иначе. Он использовал термин «Мексиканские отцы». Сам там не был, нет, хотя имел разговор с кем-то, кто был, с каким-то визитером из Массачусетса, который, вероятно, и написал ту заметку. Тимоти спросил, не сможет ли Джилсон нам объяснить, где находится монастырь. Тот пригласил нас в свой домик: чистенько, типичная для юго-запада обстановка — ковры навахо на стенах, полдюжины кремово-оранжевых горшков хопи на книжных полках, и достал карту Финикса с окрестностями.

— Сейчас вы здесь, — сказал он, постучав пальцем по карте. — Из города выедете к шоссе Черного Каньона — это скоростное шоссе — и

двинетесь на север. Смотрите за указателями на Прескотт, хотя, конечно, так долго вам ехать не придется. И вот здесь, не так уж далеко от границы города… миля-другая… вы съезжаете с шоссе… разбираетесь с картой? Вот здесь, давайте помечу. Теперь едете по этой дороге… потом сворачиваете на эту… вот, смотрите, она идет на северо-восток… по-моему, по ней миль шесть-семь… — Он набросал несколько зигзагов на нашей дорожной карте и, наконец, поставил большой крест. — Нет, монастырь еще не здесь. На этом месте вы оставите машину, а дальше пойдете пешком. Дорога тут становится просто тропой, и ни одна машина не пройдет, даже джип, но для молодых ребят вроде вас никаких проблем. Это здесь, четыре мили строго на восток.

— А что, если проскочим? — спросил Тимоти. — Монастырь, я имею в виду, не дорогу.

— Не промахнетесь, — ответил Джилсон. — Но если вдруг выедете к индейской резервации Форт Мак-Доуэлл, то знайте, что немножко проехали. Ну, а уж если увидите озеро Рузвельт, тогда, значит, забрались слишком далеко.

Когда мы уже уходили, он попросил заглянуть к нему на обратном пути и рассказать, что мы там увидим.

— Люблю, чтобы мои архивы держались на уровне. Все время хочу сам съездить взглянуть, да сами знаете: всю дорогу дела, а времени ни на что не хватает.

Конечно-конечно, сказали мы. Расскажем во всех подробностях.

Мы снова в машине. Оливер за рулем, Эли с развернутой на коленях картой — за штурмана. Двигаемся на запад, к шоссе Черного Каньона. Широченная, почти пустая, за исключением нескольких здоровенных грузовиков супермагистраль жарится на утреннем солнце. Направление — север. Вскоре мы получим ответы на все наши вопросы: нет сомнений, что появятся и новые. За нашу веру или, возможно, за нашу наивность воздастся сторицей. Меня прошиб озноб среди тропической жары. Я услышал, как откуда-то из преисподней нарастает зловещая увертюра в вагнеровском духе, с издающими пульсирующие звуки трубами и тромбонами. Занавес пошел вверх, хоть я и не мог точно определить, какой акт для нас начинается: первый или последний. Больше я не сомневался, что Дом Черепов окажется на своем месте. Слишком буднично говорил об этом Джилсон: это не было мифом, но лишь одним из проявлений порыва к

духовности, возбуждаемого, казалось, в человечестве этой пустыней. Мы найдем монастырь, и он окажется прямым наследником именно того, что описан в «Книге Черепов». И снова легкий озноб: а что, если мы лицом к лицу столкнемся с самим автором той древней рукописи — тысячелетним, вневременным? Все возможно, если в тебе есть вера.

Вера. Какая часть моей жизни сложилась под влиянием этого короткого слова? Портрет художника в виде юного сопляка. Приходская школа с протекающей крышей; ветер, завывающий в окнах, так нуждающихся в замазке; бледные сестры, имеющие такой непреклонный вид в своих простых очках, сурово глядящие на нас в коридоре. Катехизис. Маленькие прилизанные мальчики в белых рубашках с красными галстучками. Урок ведет отец Бэрк. Пухленький, молодой, розоволицый, на верхней губе постоянно бисеринки пота, мягкий подбородок нависает над стоячим воротничком. Ему лет двадцать пять — двадцать шесть. Это молодой священник, мучимый своим безбрачием, дрючок у него еще не отсох, и в мрачные часы он задумывается, стоит ли того все это. Для семилетнего Неда он был воплощением Священного Писания, лютого и необъятного.

Всегда с линейкой, и носил он ее не зря: он читал своего Джойса, он играл роль, держа жезл наказующий. Вот он приказывает мне встать. Встаю, дрожа, испытывая желание наделать в штанишки и убежать. Из носа течет (до двенадцати лет у меня постоянно текли сопли: ной детский образ подпорчен темным пятном под носом, липкими усами из грязи; лишь созревание прикрыло краник). Быстро подношу ладонь к носу, смахиваю сопли. «Веди себя прилично!» — доносится голос отца Барка, его голубые водянистые глаза сверкают. Бог есть любовь, Бог есть любовь, а что же тогда такое отец Бэрк? Линейка со свистом рассекает воздух. Молнии исходят от его устрашающего меча. Он делает в мою сторону раздраженный жест: «Символ веры, быстро».

Я начинаю, запинаясь: «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа… Иисуса Христа…»

Заминка. Сзади доносится хриплый шепот Сэнди Делана: «Сына Божия, Единородного».

Коленки у меня дрожат. Душа трепещет. В воскресенье после мессы мы с Сэнди Доланом ходили подглядывать в окна и видели, как переодевается его пятнадцатилетняя сестра: маленькие,

с розовыми сосками груди, темные волосы под животом. Темные волосы. «У нас тоже вырастут волосы», — шепнул мне Сэнди. Неужели Бог засек, как мы подсматривали за ней? Воскресение Божие — и такой грех! Угрожающий взмах линейки.

«…Сына Божия, Единороднаго… Нас ради человек и нашего ради спасения сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы…». Вот я и добрался до кульминации, до того мелодраматического пассажа, который так люблю. Я говорю увереннее, громче, голос звучит чистым певучим сопрано: «Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребение. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса… возшедшаго на небеса…»

Снова растерялся. Помоги, Сэнди! Но отец Бэрк слишком близко. Сэнди не отваживается подсказать.

«…возшедшаго на небеса…»

— Он уже на небесах, мальчик, — бросает священник. — Продолжай! «Возшедшаго на небеса…»

Язык прилипает к небу. Все смотрят на меня. Неужели нельзя сесть? Неужели Сэнди не может продолжить? Мне всего семь лет, о Господи, разве

я должен знать весь Символ веры?

Линейка… Линейка…

Невероятно, но на помощь приходит сам священник: «…и седяща одесную Отца…»

Благословенная зацепочка. Я хватаюсь за нее. «…седяща сдесную…»

«Одесную!» — И моя шуйца получает удар жезлом наказующим. Горячий, обжигающий, жалящий, вызывающий зуд хлопок со звуком сломанной палки заставляет съежиться, будто лист на огне, мою трясущуюся руку: от звука и боли горючие слезы наворачиваются на глаза. А теперь можно сесть? Нет, я должен продолжать. Слишком многого ждут они от меня! Старушка сестра Мэри Джозеф с покрытым сеточкой морщинок лицом читает вслух перед аудиторией из моих стихотворений, посвященную Светлому кресению оду, и говорит мне потом, что у меня большой дар. Продолжай. Символ, Символ, Символ! Так нечестно. Ты ударил меня, теперь следует разрешить мне сесть.

— Дальше, — говорит неумолимый Бэрк. — «И седяща одесную…»

Я киваю.

— «И седяща одесную Отца. И паки грядущего со славою — судити живым и мертвым, Его же

Царствию не будет конца…»

Худшее позади. Сердце колотится, спешу оттарабанить остальное:

— «Верую в Духа Святаго, в Священную Католическую Церковь, приобщение святых, отпущение грехов, воскрешение из мертвых и жизнь вечную».

Невнятный поток слов.

«Аминь».

А нужно ли говорить «аминь» в конце? Я настолько обескуражен, что не могу вспомнить. Отец Бэрк кисло улыбается; я, опустошенный, плюхаюсь на место. Вот вера для тебя. Вера. Младенец Христос в яслях и опускающаяся на пальцы линейка. Холодные коридоры, хмурые лица; сухой, пыльный запах святости. Однажды нас навестил кардинал Кашинг. Вся школа перепугана: вряд ли появление на пыльной кладовки с учебниками самого Спасителя вызвало бы больший страх. Сердитые взгляды, окрики яростным шепотом: стоять прямо, петь в тон, держать рот на замке, проявлять уважение. Бог есть любовь. Бог есть любовь. А четки, распятия, пастельные лики Девы, рыба по пятницам, кошмар первого причастия, боязнь войти в исповедальню — весь арсенал веры, осколки столетий — конечно же,

мне пришлось избавиться от всего этого. Бежать от иезуитов, от собственной матери, от всех апостолов и великомучеников, св. Патрика, св. Брендана, св. Дионисия, св. Игнатия, св. Антония, св. Терезы, кающейся шлюхи св. Таисии, св. Кевина, св. Неда. Я стал смердячим, проклятым отступником, не первым из семьи, свернувшим с пути истинного. Когда я попаду на муки вечные, то повстречаю в изобилии дядьев, теток, кузин и кузенов, которые покроют меня плевками. А теперь Эли Штейнфельд требует от меня новой веры. Как нам всем известно, говорит Эли, Бог — штука несущественная, от него только лишняя путаница: признаться в наше время, что ты веришь в Его существование — все равно что признать наличие геморроя. Мы, люди искушенные, все повидавшие, знающие, что грош всему этому цена, не можем отдаться на милость Его, не можем позволить этому безнадежно отставшему от жизни старому негодяю доверить принимать за нас важнейшие решения. Но подождите, восклицает Эли! Отриньте свой цинизм, откажитесь от поверхностного недоверия к невидимому! Эйнштейн, Бор и Эдисон разрушили нашу способность постигать Потустороннее, но разве вы не желаете с радостью постичь Посюстороннее?

Веруйте, говорит Эли. Веруйте, потому что это невозможно. Уверуйте в то, что познанная история — миф, и миф этот — то, что осталось от истинной истории. Веруйте в Черепа, веруйте в их Хранителей. Веруйте. Веруйте. Веруйте. Совершите акт веры, и жизнь вечная станет вам наградой. Так говорит Эли. Мы движемся на север, на восток, снова на север, снова на восток, въезжаем, петляя, в тернистую первозданность пустыни, и мы должны уверовать.

21. ТИМОТИ

Я стараюсь быть бодрым. Я стараюсь не жаловаться, но иногда все заходит слишком далеко. Например, эта поездка по пустыне в разгар дня. Нужно быть мазохистом, чтобы согласиться навязать себе нечто подобное, даже ради того, чтобы прожить десять тысяч лет. Эта часть всего предприятия — явная чепуха: нереальная, идиотская. Реальна лишь жара. На мой взгляд, сейчас градусов 95 — 100, возможно, 105. Еще в апрель не наступил, а мы уже как в топке. Знаменитая сухая жара Аризоны, про которую все время говорят: да, здесь, конечно, жарковато, но это сухая жара, ты ее даже не ощущаешь. Чепуха. Я ее ощущаю. Куртка снята, рубашка расстегнута, а я зажариваюсь. Если бы не эта моя чертова кожа, то я давно бы содрал и рубашку, но тогда совсем испекусь. Оливер уже снял рубашку, а он светлее меня; возможно, у него кожа погрубее, крестьянская шкура, канзасская. Каждый шаг дается с усилием. А сколько нам, собственно говоря, еще предстоит пройти? Пять миль? Десять?

Машина осталась далеко позади. Сейчас поло-

вина первого, а идем мы с полудня, миновали примерно четверть пути или около того. Тропинка — дюймов восемнадцать шириной, а иногда и того уже. Местами вообще нет никакой тропинки, и нам приходится перепрыгивать и перебираться через низкорослые кустарники. Мы бредем цепочкой, как четверо каких-то долбанутых навахо, подкрадывающихся к армии Кастера. Даже ящерицы смеются над нами. Господи, уж не знаю, как здесь вообще что-то может выжить — ящерицы, выжженные растения. Почва тут — не земля, и не песок: это нечто сухое и рассыпчатое, издающее у нас под ногами тихий хрустящий звук. Здешняя тишина усиливает его. Тишина пугающая. Мы не разговариваем. Эли тащится впереди с таким видом, будто стремится к Святому Граалю. Нед пыхтит и отдувается: он и так-то не силен, а эта прогулка вымотала его окончательно. Оливер, замыкающий шествие, полностью, как обычно, погружен в себя. Он вполне мог бы быть астронавтом, шагающим по лунной поверхности. Время от времени Нед подает голос, чтобы поведать нам что-нибудь из жизни растений. Я никогда не подозревал, что он такой фанат ботаники. Здесь очень мало громадных вертикальных кактусов-сагуаро, хотя

я и замечаю несколько пятидесяти-шестиде-сятифутовых громадин чуть подальше от тропы. Зато здесь тысячи причудливых штуковин, футов по шесть высотой, с узловатыми деревянистыми серыми стволами и множеством болтающихся пучков колючек и зелеными листьями. Нед называет их «цепной фрукт чолья» и предупреждает, чтобы мы держались от них подальше. Колючки острые. Мы обходим их стороной, :но здесь есть еще одна чолья — медвежонок чолья, которую обойти уже не так просто. Медвежонок — лентяй. Это маленькие растения-коротышки, высотой не больше двух футов, покрытые тысячами пушистых колючек соломенного цвета: стоит тебе только посмотреть на медвежонка не так, как колючки подпрыгивают и кусают тебя. Могу поклясться в этом. Мои башмаки покрыты шипами. Медвежонок легко ломается, а куски отваливаются и откатываются в сторону; многие из них валяются прямо на тропе. Нед говорит, что каждая колючка в конце концов пустит корни и станет новым растением. Нам нужно следить за каждым своим шагом, чтобы не наступить на такую колючку. Невозможно даже швырнуть кусок медвежонка ногой в сторону, если он попался на твоем пути. Я разок попытался так сделать, но

кактус прицепился к ботинку, а когда я хотел его отодрать, то позагонял колючек себе в пальцы. Не меньше сотни зараз. Как обожгло. Я завопил. В высшей степени нехладнокровные крики. Нед попробовал их вытащить, используя пару палочек вместо щипцов. Пальцы до сих пор горят. Темные, маленькие точки остались под кожей. Интересно, не будет ли инфекции. Здесь есть еще и куча других кактусов — кактус-бочонок, шипастая груша и еще шесть или семь разновидностей, которые даже Нед затруднился назвать. И лиственные деревья с колючками, стручками, цветами. Все здешние растения враждебны. Не тронь меня, говорят они, не тронь меня, а то пожалеешь. Хотелось бы мне оказаться где-нибудь . в другом месте. Но мы идем, идем и идем. Я бы махнул Аризону на Сахару, нет, даже больше, отдал бы в придачу еще и половину Нью-Мексико. Сколько осталось идти? Насколько жарче еще станет? Хрусть. Хрусть. Хрусть.

— Эй, смотрите сюда! — показал Эли.

Слева от тропы большой округлый валун, наполовину скрытый желтой путаницей чольи: темный, грубый камень, отличающийся формой и поверхностью от здешнего известняка шоколадного цвета, размером с человеческий торс. Это

черная вулканическая порода, базальт, гранит, диабаз или что-то в этом роде. Эля приседает перед валуном на корточки и, подобрав кусок дерева, отодвигает от него кактус.

— Видите? Глаза? А нос?

Он прав. Заметны большие, глубокие глазницы. Огромный треугольный провал на месте носа. И ниже, на уровне земли, ряд гигантских зубов верхней челюсти, вгрызающихся в песчаную почву.

Череп.

Вид у него такой, будто он пролежал здесь тысячелетия. Нам заметны следы более тонкой резьбы, обозначающей скулы, выступы бровей в другие черты; но большая их часть стерта временем. И тем не менее это череп. Несомненно, череп. Это дорожный указатель, который говорит нам, что до цели осталось немного, или предупреждает, что нам следует прямо сейчас повернуть назад. Эли стоит долго рядом с черепом, разглядывая его. Нед. Оливер. Он их заворожил. Над нами прошла туча, покрыв валун тенью к изменив его вид; теперь мне кажется, что глазные впадины повернулись и смотрят на нас. Жара меня достает.

— Наверное, это еще доколумбовых времен, —

говорит Эли. — Должно быть, они притащили эту штуку с собой из Мексики.

Мы смотрим вперед, вглядываемся в жаркое марево. Три напоминающих колонны огромных сагуары перекрывают поле зрения. Нам надо пройти между ними. А что дальше? Сам Дом Черепов? Никаких сомнений. Я вдруг спрашиваю себя: что я здесь делаю, как я вообще позволил втянуть себя в этот маразм? То, что казалось шуткой, теперь кажется слишком реальным.

Никогда не умирать. Ах, какая чепуха! Разве такое бывает? Мы убьем несколько дней, чтобы выяснить все до конца. Приключение в невменяемом состоянии. Черепа на дороге. Кактус. Жара. Жажда. Двое должны умереть, если двоим суждено жить. Вся та мистическая бредятина, которую изливал на нас Эли, вдруг воплотилась для меня в виде шара из грубого черного камня, такого массивного, такого неопровержимого. Я влез во что-то такое, что абсолютно за пределами моего понимания, и здесь может скрываться опасность для меня. Но назад уже не повернуть.

22. ЭЛИ

А что, если здесь никогда в не было никакого Дома Черепов? И мы прошли до конца тропы лишь для того, чтобы наткнуться на непроходимую стену шипов и колючек? Могу признаться, что ожидал этого. Что вся экспедиция станет еще одной неудачей, еще одним фиаско шмеггеге Эли. Череп возле дороги окажется ложной наводкой, рукопись — сказкой о мечте, газетная статья — фальшивкой, а крестик на карте — лишь бесцельной насмешкой. А перед нами только кактусы и мескитовые деревья, скудная почва, задворки пустыни, где даже свиньи не захотели бы гадить. И что же тогда я сделаю? Я с величайшим достоинством обращусь к трем своим товарищам и скажу: «Джентльмены, я был введен в заблуждение, и ваши ожидания также обмануты. Мы гонялись за призраками». При этом извиняющаяся полуулыбка будет играть в уголках моих губ. И тогда они хладнокровно, без всякой злобы, схватят меня, зная с самого начала, что этим все и кончится, разорвут на куски, вгонят деревянный кол мне в сердце, пригвоздят меня к высоченной

сагуаре, завалят плоскими камнями, вотрут чольи мне в глаза, сожгут меня заживо, закопают по грудь в муравейник, кастрируют ногтями, мрачно напевая при этом*: «Шмеггеге, шлемиль, шлемазель, шмендрик, шлеп!»* Терпеливо снесу я заслуженную кару. Я знаю, что такое унижение. Несчастья никогда не удивляют меня.

Унижения? Несчастья? Как в случае с Марго? Самое недавнее из моих крупных поражений. Рана еще не зажила. Дело было в начале семестра в октябре прошлого года, в один из дождливых, туманных вечеров. У нас имелась первоклассная травка, предположительно «красная панамская», попавшая к Неду по подпольным гомосексуальным каналам. Закрутка ходила между Тимоти, Тедом и мной, а Оливер, естественно, воздерживался и блаженно потягивал какое-то дешевое красное вино. Музыкальным фоном служил один из квартетов Разумовского, заглушавший барабанную дробь дождя: когда мы воспарили высоко, мистическими звуками одарял нас Бетховен, и казалось, что вторая скрипка необъяснимым образом влилась в нашу компанию, а иногда — даже гобой и сверхъестественный фагот за звуками струнных. Бер-серкское пятимерное музыковедение для ребят под кайфом. Нед не

надул: дурь качественная. И я незаметно для себя поплыл, разговорился, разоткровенничался, начал облегчать душу и неожиданно признался Тимоти, что больше всего в жизни жалею о том, что ни разу не имел по-настоящему, на мой взгляд, красивой девушки.

Тимоти сочувственно, озабоченно спросил, какую девушку я считаю по-настоящему красивой. Я помолчал, обдумывая свои предложения. Нед, решивший помочь, называл имена: Речел Уэлч, Катрин Денев, Лейни Казан. Наконец меня озарило. «Марго я считаю по-настоящему красивой девушкой», — выпалил я. Марго, принадлежавшую Тимоти. Гойскую богиню Тимоти, золотую шиксе. Сказав это, я почувствовал быстро набросанную серию реплик диалога, резонирующего в моем затуманенном коноплей мозгу, продолжительный поток слов, а потом время, как это бывает под влиянием наркотика, преобразовалось, и я услышал исполнение всего своего сценария, причем каждая строчка строго соответствовала репликам. Тимоти вполне честно спрашивал, волнует ли меня Марго. Так Же честно я его заверил, что волнует. Затем он пожелал узнать, буду ли я чувствовать себя менее неполноценным, более удовлетворенным, если займусь с ней

этим. Уже не так уверенно, не понимая, к чему он клонит, я ответил довольно туманно, чтобы услышать от него, к своему изумлению, что он обо всем договорится на завтрашнюю ночь. О чем договорится, спросил я? О Марго, ответил он. В качестве акта христианского милосердия он сведет меня с Марго.

— А она…

— Конечно, согласится. Ты ей нравишься.

— Ты нам всем нравишься, Эли. — Это подал голос Нед.

— Но я не могу… она не станет… как… а что…. .

— Жалую ее тебе, — величественно сказал Тимоти. Знатный сеньор, делающий благородный жест. — Я не могу позволить, чтобы мои друзья находились в подавленном состоянии и носили в себе неудовлетворенные желания. Завтра в восемь у нее. Я скажу ей, чтобы она тебя ждала.

— Это выглядит какой-то насмешкой, — сказал я, помрачнев. — Слишком просто. Нереально.

— Не будь задницей. Считай это компенсаторным опытом. Вроде кино, но только более интимно.

— И более ощутимо, — добавил Нед.

— Наверное, ты меня все-таки разыгрываешь, — буркнул я.

— Честное скаутское! Она твоя!

Тимоти начал рассказывать о том, что Марго предпочитает в постели, о ее особых эрогенных зонах, об используемых ими маленьких знаках. Я проникся духом происходящего, взлетая все выше и выше, меня разобрал смех, и я начал дополнять наглядные описания Тимоти своими собственными скабрезными фантазиями. Конечно, стоило мне прийти в себя через час-другой, как я уже не сомневался, что Тимоти все-таки смеялся надо мной, и при мысли об этом я погрузился в самые мрачные раздумья. Ведь я всегда был уверен, что все марго этого мира не для меня. А Тимоти и ему подобные перетрахают полки марго, но мне не достанется ни одной. По правде говоря, я боготворил ее издали. Образчик шиксе, цветок женственности арийского типа, стройная и длинноногая, на два дюйма выше меня (но когда девушка выше тебя, то кажется, что намного больше!), шелковистые золотые волосы, лукавые голубые глаза, вздернутый нос-кнопка, полные подвижные губы. Сильная девушка, живая девушка, одна из лучших баскетболисток (сам Оливер уважительно отзывался о ее спортивных способностях), отличная студентка, гибкий и неоднозначный ум: да, она пугающе,

ошеломляюще совершенна, она относится к тем безукоризненным особям женского пола, которых в таком множестве плодит наша аристократия, которые появляются на свет для того, чтобы безмятежно управлять загородными поместьями или горделиво расхаживать со своими пуделями по Второй авеню. Марго мне? Чтобы мое потное волосатое тело покрыло ее? Чтобы моя щетинистая щека терлась о ее нежную кожу? Да, и лягушки могут совокупляться с кометами. В глазах Марго я должен выглядеть чем-то грубым и неопрятным, жалким существом низшего порядка. Любые сношения между нами будут чем-то неестественным, сплавом серебра и меди, смесью алебастра и угля. Я выбросил эту затею из головы. Но за обедом Тимоти напомнил мне о свидании. Это невозможно, сказал я, подкрепив свои слова шестью сильными оправданиями: учеба, подготовка доклада, сложный перевод и тому подобное. Он отмел мои жалкие отговорки.

Придешь к ней в восемь, сказал он. Меня окатило волной страха.

— Не могу, — упирался я. — Ты из нее проститутку делаешь, Тимоти. Что я должен делать? Войти, расстегнуть ширинку и запрыгнуть на нее? Ничего не получится. Так не бывает, чтобы

фантазия стала явью по мановению волшебной палочки.

Тимоти пожал плечами.

Я предположил, что вопрос исчерпан. В тот вечер У Оливера была баскетбольная тренировка. Нед ушел в кино. Около половины восьмого собрался и Тимоти.

В библиотеке надо поработать, сказал он, увидимся в десять. Я остался один в нашей комнате. Ничего не подозревая, засел за свои бумаги. Ровно в восемь в двери повернулся ключ и вошла Марго: очаровательная улыбка, чистое золото. Я в ужасе, в оцепенении.

— Тимоти здесь? — спрашивала она, небрежно запирая за собой дверь.

В груди у меня бушует буря.

— Библиотека, — выпалил я. — Вернется в десять.

Спрятаться некуда.

Марго надулась.

— А я думала, он здесь. Что ж, его проблемы. А ты очень занят, Эли? — Искрящееся голубоглазое подмигивание. Она непринужденно усаживается на диван.

— Я пишу доклад, — отвечаю я. — О неправильных формах глагола…

— Замечательно! А ты не хочешь покурить?

Я понял. Они все устроили. Заговор, чтобы сделать меня счастливым независимо от моей воли. Я чувствовал себя игрушкой в чужих руках, к которой относятся покровительственно, издевательски. Сказать ей, чтобы она ушла? Нет, шмендрик, не будь болваном. На два часа она твоя. К черту моральные выкрутасы. Цель оправдывает средства. Это твой шанс, а другого ты не получишь.

Развязной походкой я подошел к дивану. Да, именно Эли развязно подошел! Марго держала две толстые, умело свернутые самокрутки. Спокойно раскурив одну из них, она глубоко затянулась и подала мне; пальцы у меня дрожали, и я чуть не ткнул ее в руку горящим концом, когда брал сигарету. Крутая травка. Закашлялся, она похлопала меня по спине. Шлемилъ. Шлеп. Марго затянулась и взметнула брови с выражением полного кайфа. На меня же травка никак не подействовала: я был слишком напряжен, а излишек адреналина выжигал в зародыше ее возможный эффект. Я чувствовал, что покрылся вонючей испариной. Сигарета быстро прогорела. Марго, вид у которой был уже забалдевший, предложила другую. Я покачал головой.

— Потом.

Она поднялась и прошлась по комнате.

— По-моему, здесь ужасно жарко, тебе не кажется? До чего же дешевый номер! Умная девушка вроде

Марго могла бы придумать что-нибудь и получше. Она потянулась, зевнула. На ней были белые брюки в обтяжку и плотно облегающая короткая кофточка: плоский загорелый живот оставался обнаженным. Явно нет ни лифчика, ни трусиков: заметны бугорки сосков, а под обтягивающими небольшие округлые ягодицы брюками не видно рубчиков, выдающих наличие нижнего белья. Эх, Эли, созерцатель ты несчастный! Тоже мне, нашелся искушенный дамский угодник!

— Какая духотища, — сказала Марго полусонным-полупьяным голосом.

Кофточку долой. Я одарен невинной улыбкой, как бы говорящей: мы же старые друзья, так стоит ли волноваться из-за всяких глупых условностей, неужели сиськи — нечто более заветное, чем локти? Грудь у нее оказалась средних размеров, полная, высокая, восхитительно твердая, словом — полный класс. Это была самая роскошная грудь, что мне приходилось видеть до сих пор. Я смотрел на нее помимо своей воли. В кино все

гораздо проще: у тебя нет личных отношений с происходящим на экране. Марго завела трепотню на астрологические темы, чтобы, как мне показалось, снять напряженность. Всякая дребедень насчет взаиморасположения планет в таком-то и таком-то доме. Я лишь что-то лепетал в ответ. Она плавно перешла на гадание по руке: тайны хиромантии были ее новым коньком.

— Цыганки обычно занимаются надувательством, — серьезно сказала она, — но это не означает, что в основе не лежит здравое зерно. Штука в том, что вся твоя будущая жизнь запрограммирована в молекулах ДНК, а они определяют рисунок ладони. Дай-ка посмотрю. — Взяв меня за руку, она усадила меня рядом с собой на диван. Я ощущал себя последним идиотом, если не с точки зрения действительного практического опыта, то по поведению, какой-то девицей мужского рода, которой нужно разжевывать очевидные вещи.

— Вот, смотри, линия жизни — о, да она у тебя длинная, *очень* длинная!

Пока она занималась хиромантией, я украдкой поглядывал на ее буфера.

— А это, — продолжала Марго, — бугорок Венеры. А видишь, как загибается эта линия? Отсюда я делаю вывод, что ты — человек очень сильных

страстей, но сдерживаешь их, слишком их подавляешь. Разве не так?

Ладно, Марго, будем играть в твою игру. Моя рука вдруг обняла ее за плечи, ладонь легла на обнаженную грудь.

— О Эли, да, так, так… да!

Явно переигрывает. Входим в клинч, вязкий поцелуй. Губы ее раздвинулись, и я исполняю ожидаемое. Но никакой страсти — ни сильной, ни какой-нибудь там еще — я не ощущал. Все происходящее казалось формальностью, каким-то менуэтом, чем-то запрограммированным извне: я никак не мог соотнести себя с этим, с самой мыслью о том, чем я буду заниматься с Марго. Нереально, неправдоподобно. Даже после того, как она выскользнула из моих объятий и сбросила брюки, обнажив выступающие тазовые кости, тугие мальчишеские ягодицы, мелкие рыжеватые завитки, я не ощутил желания. Она улыбалась мне, манила, зазывала. Для нее во всем этом не было ничего более апокалиптического, чем в рукопожатии, поцелуе в щечку. Во мне же взрывались галактики. Насколько просто все должно бы быть для меня. Скинуть портки, взгромоздиться, сунуть, задвигать бедрами, и — о-а-о-а, о-о-о, а-а-а, ка-а-айф! Но мне мешал секс в голове:

посылка, что Марго — недоступный символ совершенства, слишком глубоко укоренилась, чтобы так просто признать, что она более чем доступна и вовсе не настолько совершенна — бледный шрам после аппендицита, следы целлюлита на бедрах, жировые отложения, подобающие более полной девочке-подростку, тонковатые ляжки.

В общем, я обмишурился. Да, я разделся; да, мы добежали до кровати; да, я все-таки сумел поднять свой инструмент с помощью Марго — либидо, в конце концов одержало верх над умерщвлением плоти, что привело к отвердению и пульсации, — а потом налетел на нее диким быком пампасов, хватая и царапая, перепугав ее своей необузданностью, чуть ли не изнасиловав ее, и все это для того, чтобы в самый момент вхождения конец опал, а затем — о да, ошибка за ошибкой, провал за провалом. Марго то пугалась, то забавлялась, то сочувствовала, пока не наступило завершение, почти сразу же увенчавшееся извержением, сопровождавшимся невыразимым презрением к самому себе и бездонным отвращением. Я не мог смотреть на нее. Я откатился в сторону, зарывшись в подушки, осыпая последними словами себя, проклиная Тимоти, понося Д. Х. Лоуренса.

— Тебе помочь? — спросила Марго, поглаживая мою потную спину.

— Пожалуйста, уходи, — сказал я. — Прошу тебя. И никому ничего не говори.

Но она, конечно, рассказала. Они все все знали. Про мою неуклюжесть, про мое нелепое неумение, про мои семь вариантов двусмысленностей, которые в конечном итоге обернулись семью разновидностями импотенции. *Шмеггеге* Эли, просравший свой шанс поиметь самую классную телку из тех, которых он когда-либо касался. Еще один из продолжительной серии его любовно подготавливаемых провалов. И здесь, наверное, мы продираемся сквозь стену кактусов к очередному фиаско, и все трое, наверное, скажут к концу маршрута: «А что еще можно было ждать от Эли?» Но Дом Черепов оказался на месте.

Тропинка, извивавшаяся по небольшому холму, привела нас к еще более густым зарослям чольи и мескито, и мы вдруг оказались на широкой песчаной площадке. Слева направо тянулся ряд черных базальтовых черепов, точно таких же, как и тот, что мы видели по дороге сюда, но гораздо меньших размеров, примерно с баскетбольный мяч, установленных в песке дюймах в двадцати друг от друга. Ярдах в пятидесяти за

вереницей черепов мы увидели Дом Черепов, распластавшийся, как сфинкс в пустыне: довольно большое одноэтажное здание с плоской крышей и шершавыми желтовато-коричневыми оштукатуренными стенами. Семь колонн белого камня украшали его глухой фасад. Сооружение производило впечатление аскетичной простоты, нарушаемой лишь карнизом, проходящим вдоль фронтона: рельефные изображения черепов, повернутых в профиль левой стороной. Ввалившиеся щеки, провалы вместо носов, огромные круглые глазницы. Рты, широко ощерившиеся в мрачных ухмылках. Большие, острые, тщательно очерченные зубы изготовились, казалось, для свирепого укуса. А языки — о, воистину зловещая деталь, черепа с языками! — изящно изогнуты в форме страшноватой буквы 8, уложенной набок, причем кончики языков проходят прямо сквозь зубы, мелькая подобно раздвоенным змеиным жалам. Здесь были десятки этих повторяющихся, навязчиво одинаковых черепов, застывших в потусторонней неподвижности и было в них нечто кошмарное, что я замечал в большинстве образцов искусства Мексики доколумбовой эпохи. Мне показалось, что более уместно они выглядели бы по сторонам какого-нибудь алтаря, на котором из

трепещущих грудей вырезались бы обсидиановым ножом бьющиеся сердца.

Здание, по всей видимости, было П-образным, его длинные боковые крылья уходили за основной корпус. Дверей я не увидел. Но ярдах в пятнадцати перед фасадом в центре площадки виднелся вход в обложенный камнем подвал: его зияющее, темное и таинственное отверстие казалось воротами в подземный мир. Я сразу понял, что это, наверное, и есть ход, ведущий в Дом Черепов, подошел поближе и заглянул в отверстие. Кромешная тьма. Посмеем ли мы войти? Не подождать ли, пока кто-нибудь появится и призовет нас? Но никто не появлялся, а жара стояла невыносимая. Я чувствовал, как опухает и натягивается кожа на носу и щеках, как она становится красной и блестящей от полученного солнечного ожога.

Мы переглянулись. Девятое Таинство не шло у меня из головы, да и остальные, наверное, думали о том же. Мы можем войти, но не все пройдем дальше. Кто будет жить, а кто умрет? Я поймал себя на мысли о том, что непроизвольно рассматриваю кандидатов на небытие, прикидываю шансы своих друзей, быстренько осуждаю на смерть Тимоти и Оливера и тут же отступаю,

заменив Неда на Оливера, Оливера на Тимоти, Тимоти на Неда, себя на Тимоти, Неда на себя самого, Оливера на Неда, и все хожу вокруг да около, не приходя ни к какому окончательному решению. Никогда еще моя вера в истинность «Книги Черепов» не была сильнее. Никогда еще ощущение того, что я стою на краю бесконечности, не было столь сильным и пугающим.

— Пошли, — сказал я хриплым осекшимся голосом и сделал несколько неуверенных шагов вперед.

Крутая каменная лестница вела вниз, под своды. Пять, шесть, семь футов под землю, и я оказался в темном тоннеле, широком, но низком, не выше пяти футов. Воздух здесь был прохладным. Полоски неяркого света позволили разглядеть украшения на стенах: черепа, черепа, черепа. Пока в так называемом монастыре не попалось ни следа христианской символики, но знаки смерти были вездесущи.

— Что ты там видишь? — Нед окликнул меня сверху.

Я описал тоннель и сказал им идти за мной. Неуверенно шаркая, они спустились вниз: Нед, Тимоти, Оливер. Согнувшись, я пошел вперед. Воздух становился все холоднее. Мы уже ничего

не видели в темноте, за исключением тусклого багрянистого отсвета от входа. Я старательно считал шаги. Десять, двенадцать, пятнадцать. Мы наверняка уже должны быть под зданием. Вдруг передо мной возникла преграда из полированного камня, монолитная плита, целиком заполняющая тоннель. Я обнаружил ее в самый последний момент, заметив ледяной отблеск от слабого света, и остановился, чуть не врезавшись в камень. Тупик? Да, конечно, а вскоре мы услышим грохот за спиной, и двадцатитонная плита займет свое место, перекрыв выход из тоннеля, и мы окажемся в ловушке, обреченные умирать от голода или удушья, в то время как вокруг будут грохотать раскаты хохота. Но ничего столь драматического не произошло. Я приложил ладонь к холодной поверхности плиты, преградившей нам путь, и — прямо Диснейленд какой-то! — камень подался, плавно отодвинувшись в сторону. Плита была превосходно сбалансирована, и достаточно было легкого прикосновения, чтобы открыть ее. Все правильно, я чувствовал, что мы должны войти в Дом Черепов именно в такой, несколько театральной манере. Я ожидал услышать меланхоличные звуки тромбонов и бассетгорнов, сопровождающих хор басов, затягивающих «Рек-

вием» навыворот: «Pietatis fons, me salva, gratis salvas salvandos qui, majestatis tremendae rex»[19].

Вверху показалось отверстие. Мы поползли к нему на четвереньках. Снова ступени. Вверх. Один за другим поднимаемся в большую квадратную комнату со стенами из какого-то шершавого бледного песчаника. Крыши не было, а лишь около десятка черных, толстых балок, расположенных в трех-четырех футах, друг от друга, пропускающих солнечный свет и удушающую жару. Пол в помещении был вымощен какой-то маслянистой, глянцевой плиткой пурпурно-зеленого цвета. Посреди комнаты стоял небольшой, размером с бочонок, фонтан из зеленого нефрита, над которым поднималась примерно трехфутовая человеческая фигура: вместо головы скульптуру увенчивал череп, изо рта которого стекала непрерывная струйка воды. В углах помещения возвышались четыре каменных статуи в стиле майя или ацтеков, изображавшие людей с изогнутыми тонкими носами, тонкими жестокими губами и обильно орнаментированными ушами. Напротив выхода из подземного тоннеля в стене был дверной проем, в котором стоял че-

[19] Примечания: 19

О, кладезь милосердия, спаси меня, кто заслуживает спасения, тех спасающий, царь всемогущий! (лат.)

ловек, настолько неподвижный, что поначалу я и его принял за статую.

Когда мы все оказались в помещении, он произнес глубоким, звучным голосом:

— Добрый день. Я — брат Энтони.

Это был малорослый, не больше пяти футов, коренастый человек в выцветших хлопчатобумажных голубых шортах. Его сильно загорелая кожа цвета красного дерева, напоминала пергамент очень тонкой выработки. На широком, с высоким лбом черепе не было ни единого волоска, в том числе даже на затылке. Шея у него была короткой и толстой, плечи — широкими и мощными, грудь — выпуклой, руки и ноги — мускулистыми; он производил впечатление невероятной силы и жизненной энергии. Его вид и исходившие от него волны уверенности и мощи странным образом напомнили мне Пикассо: небольшой, основательный, вневременной человек, способный выдержать что угодно. Я не мог определить его возраст. Явно немолод, но до дряхлости еще далеко. Пятьдесят? Шестьдесят? Может быть, хорошо сохранившийся семидесятилетний? Больше всего в нем смущало это отсутствие возраста. Он казался совершенно не затронутым временем, абсолютно не изно-

сившимся: я подумал, что именно так и должен выглядеть бессмертный.

Брат Энтони тепло улыбнулся, обнажив крупные безупречные зубы, и произнес:

— Кроме меня вас некому приветствовать. У нас очень немного посетителей, и мы никого не ждем. Остальные братья сейчас работают в полях и вернутся не раньше вечерней молитвы. — Он превосходно говорил по-английски, но каким-то особым образом: бесцветно, без акцента, или, можно сказать, с акцентом говорящего компьютера. Голос — твердый и музыкальный, фразы — неторопливые и уверенные. — Прошу вас располагаться у нас на любое время, какое пожелаете. У нас имеется место для гостей, и мы приглашаем вас разделить наше уединение. Вы останетесь у нас не только на сегодняшний вечер?

Оливер посмотрел на меня. Затем Тимоти. Нед. Стало быть, мне выступать за главного. Я ощущал какой-то медный привкус во рту. Меня вдруг охватила абсурдность, полная нелепость того, что мне предстояло сказать, и я никак не мог раскрыть рот. Я чувствовал, как мои обгоревшие щеки багровеют от стыда. «Повернись и беги, повернись и беги, — кричал мне какой-то голос

изнутри. — Вниз, в эту кроличью нору. Беги. Беги. Беги, — пока можешь». Я смог со скрипом выдавить из себя единственное слово: — Да.

— В таком случае вам потребуются комнаты. Прошу следовать за мной.

Он повернулся и пошел. Оливер бросил на меня яростный взгляд.

— Скажи ему! — возбужденно прошептал он. Скажи ему. Скажи ему. Скажи ему. Давай, Эли,

говори. Что тут такого? В худшем случае над тобой просто посмеются. Но в этом нет ничего нового, не правда ли? Все сошлось в этот момент воедино: вся риторика, вся самодостаточная гипербола, все горячие философские споры, все сомнения и контраргументы, вся наша поездка. Вот ты и здесь. Ты считаешь, что это именно то место. Так скажи ему, чего ты здесь ищешь. Скажи ему. Скажи. Скажи.

Брат Энтони, уловив шепот Оливера, остановился и обернулся к нам.

— Вы хотели что-то спросить? — мягко произнес он. Я, с трудом подбирая слова, наконец, нашел нужные:

— Брат Энтони, вам следует знать… что все мы прочитали «Книгу Черепов»…

Есть.

Выражение несокрушимой невозмутимости покинуло лицо брата на одно мгновение. Я заметил короткую вспышку — удивления? озадаченности? смущения? — в его темных, загадочных глазах. Но он быстро пришел в себя.

— Да? — произнес он таким же твердым голосом. — «Книга Черепов»? Какое странное название! А что такое, хотел бы я знать, эта «Книга Черепов»?

Вопрос был задуман как риторический. Он одарил меня ослепительной мимолетной улыбкой, напоминающей луч света маяка, на мгновение прорезавший густой туман. Но, подобно Понтию Пилату, не стал дожидаться ответа. Он спокойно пошел прочь, лишь небрежным движением пальцев указав, чтобы мы следовали за ним.

23. НЕД

У нас есть о чем беспокоиться, но, во всяком случае, они обеспечили нам условия для того, чтобы предаваться беспокойству. Каждому выделили по отдельной комнате, без излишеств, однако вполне симпатичной и уютной. Дом Черепов гораздо больше, чем кажется снаружи: два боковых крыла имеют огромную протяженность, и во всем комплексе, наверное, комнат пятьдесят-шестьдесят, не считая наличия большего числа подземных помещений. Нигде я не увидел ни единого окна. Центральные палаты, которые, как я полагаю, предназначены для приема гостей, открыты сверху, но все боковые помещения, где живут братья, полностью закрыты. Не знаю, есть ли здесь система кондиционирования: я не заметил ни труб, ни вентиляционных отверстий; но когда попадаешь из залов без крыш в закрытые помещения, сразу же ощущаешь резкое снижение температуры от пустынной жары до приятной прохлады номера в мотеле. Архитектура здесь самая простая: голые прямоугольные комнаты со стенами и потолками из грубого, неоштукату-

ренного коричневатого известняка, поверхность которого не нарушалась никакими декоративными излишествами — ни лепными карнизами, ни балками. Все полы покрыты темными плитками, нет ни ковров, ни половичков. И мебели здесь, кажется, не слишком-то много: в моей комнате имеется лишь низкая койка из бревен и толстой веревки и короткий приземистый сундук, предназначенный, как я догадываюсь, для моих пожитков, искусно изготовленный из тяжелого черного дерева. Впечатление о доминирующем здесь аскетизме нарушается лишь невероятным собранием причудливых масок и статуэток доколумбовой (как мне кажется) поры, висящих на стенах, стоящих по углам, установленных в глубоких нишах: устрашающие лица, состоящие из сплошных углов, великолепные в своей чудовищности. Образ черепа вездесущ. Не знаю, почему тот репортер решил, что здесь живут «монахи», исповедующие христианство; в газетной вырезке, найденной Эли, о здешнем убранстве говорится как о «смеси стиля христианских построек времен Средневековья с ацтекскими мотивами», но хоть ацтекское влияние здесь и достаточно очевидно, где же христианские черты? Я не вижу ни крестов, ни витражей, ни изобра-

жений святых или Святого Семейства, никакой соответствующей атрибутики. И вообще над всем этим местом витает какой-то языческий, первобытный, доисторический дух: здесь может быть храм какого-нибудь древнего мексиканского божества, даже некоего божка неандертальцев, но Иисусом здесь и не пахнет, не будь я бостонским ирландцем. На газетчика, вероятно, впечатление средневекового монастыря произвела чистая, прохладная атмосфера аскетизма — гулкое эхо, чудившиеся в безмолвных коридорах григорианские распевы, — но христианства не бывает без христианской символики, а выставленные здесь символы не имеют к нему никакого отношения. Все это место производит странное впечатление роскоши в сочетании с невероятной стилистической сдержанностью: в их глазах ничто не имело цены, кроме ощущения власти и величия, исходившего от стен, полов, уходящих в бесконечность коридоров, голых комнат, скромной и немногочисленной мебели.

Здесь явно придают огромное значение чистоте. Очень разветвленная водопроводная система: фонтаны булькают в каждой общей комнате и в больших коридорах. В моей собственной комнате имеется объемистый, сделанный на уровне пола

бассейн, отделанный темно-зеленой плиткой, который вполне уместно смотрелся бы во дворце махараджи или какого-нибудь папы римского времен Ренессанса. Доставив меня в комнату, брат Энтони предположил, что мне, вероятно, хотелось бы принять ванну, и в его учтивом замечании прозвучала сила приказа. Но меня не стоило особо заставлять, поскольку после езды по пустыне мое тело покрывал слой отвратительной грязи. Я долго и сладострастно плескался в бассейне, крутился на блестящих плитках, а когда вышел, то обнаружил, что моя грязная, пропотевшая одежда исчезла вместе с башмаками. Вместо нее на койке лежали поношенные на вид, но чистые голубые шорты вроде тех, что носил брат Энтони. Замечательно: кажется, здесь придерживаются философской посылки о том, что чем меньше, тем лучше. Со счастливым избавлением от рубашек и свитеров: натяну шорты на обнаженные чресла. В интересное место мы попали.

Основной вопрос состоит в следующем: имеет ли это место какую-то связь со средневековой рукописью Эли и предполагаемым культом бессмертия? Думаю, что имеет, хотя пока в этом не уверен. Нельзя не восхищаться чувством театральности, проявленным братом Энтони,

его восхитительно двусмысленной реакцией несколько часов назад, когда Эли сунулся к нему с «Книгой Черепов». Его тонкой ответной репликой: «Книга Черепов»? А что такое, хотел бы я знать, эта самая tКнига Черепов»? И последовавший за этим стремительный уход, позволивший ему всесторонне оценить ситуацию. Неужели он действительно не имеет понятия о «Книге Черепов»? Почему же тогда он так дернулся, когда Эли упомянул о ней? Может ли здешнее пристрастие к изображениям черепов быть простым совпадением? Не забыта ли «Книга Черепов» своими же последователями? Не ведет ли этот брат с нами какую-то игру, пытаясь внушить нам неуверенность? О, эстетика поддразнивания: сколь многие образцы великого искусства основаны на этом принципе! Мне хотелось бы пойти к Эли и посовещаться с ним: у него быстрый ум, и он хорошо толкует нюансы. Я хочу знать, не повергла ли его в замешательство реакция брата Энтони на его слова. Но, сдается мне, с Эли придется поговорить попозже. Именно сейчас, судя по всему, моя дверь заперта.

24. ТИМОТИ

Все пакостней и пакостней. Этот длиннющий коридор. Эти черепа повсюду, маски смерти мексиканского вида. Фигуры, с которых содрана кожа, но они тем не менее продолжают ухмыляться; лица, продырявленные палочками сквозь языки и щеки; тела из плоти, увенчанной черепами. Прелестно. А еще этот странноватый старик, говоривший с нами голосом, который вполне мог бы принадлежать машине. Я близок к мысли о том, что он — некая разновидность робота. Не может он быть настоящим с такой гладкой тугой кожей, с этой лысой головой, у которой такой вид, будто на ней никогда не было волос, с этими необычно блестящими глазами — шееш!

Ванна по крайней мере оказалась недурной. Хотя они забрали мою одежду. Мой бумажник, мои кредитные карточки, все до мелочей. Не очень-то мне нравится такой расклад, хоть я и предполагаю, что им вряд ли удастся воспользоваться здесь моими вещами. Может, они просто хотят все постирать? Ничего не имею против того, чтобы походить здесь в этих шортах. Немного

жмет в заднице, — должно быть, я покрупнее их обычных гостей, — но в жару неплохо сократить количество одежды.

Против чего я возражаю, так это то, что мою комнату заперли. Эта деталь напоминает мне сцены из многих ужастиков, что я видел по телевизору. Теперь должна открыться панель, скрытая в полу, и оттуда появится извивающаяся священная кобра, которая будет шипеть и плеваться ядом. Или по скрытым отверстиям начнет поступать отравленный газ. Ладно, это я не всерьез. Не думаю, что с нами что-нибудь случится. И все же обидно оказаться взаперти, если ты гость. Может быть, сейчас время какой-нибудь особо сокровенной молитвы, и они не хотят, чтобы им мешали? Вполне возможно. Подожду часок, а потом попробую высадить дверь. Правда, вид у нее чертовски прочный — эдакая здоровенная толстенная деревяшка.

Телевизора в здешнем мотеле не имеется. И читать почти нечего, если не считать брошюрки, которую оставили на полу, рядом с моей койкой. Но я, кажется, уже читал что-то подобное. «Книга Черепов», ни больше ни меньше. Напечатано на машинке на трех языках — латынь, испанский, английский. Веселенькое украшение для

обложки: череп и скрещенные кости. Хей-хо, Веселый Роджер! Но это меня не забавляет. А в брошюрке — все то, что нам излагал Эли, вся эта мелодраматическая чепуха насчет восемнадцати Таинств. Формулировки немного не такие, как в его переводе, но смысл тот же самый. Немало болтовни о вечной жизни, но и о смерти тоже много. Слишком много.

Мне бы хотелось выбраться из этого места, если они вообще когда-нибудь откроют дверь. Шутки шутками, и месяц назад это, может быть, и казалось забавным: рвать задницу и дуть на запад по указанию Эли, но теперь, оказавшись здесь, не могу понять, как я позволил втянуть себя в это. Если у них все всерьез, в чем я продолжаю сомневаться, то я не хочу играть в их игры, а если они представляют собой лишь кучку балдеющих от собственных ритуалов фанатиков, что, кажется, ближе к истине, мне все равно с ними не по пути. Я здесь почти два часа и думаю, что уже достаточно. Все эти черепа действуют мне на нервы. Да еще и их шуточки с запиранием дверей. И этот потусторонний старик. Ладно, ребята, хватит. Тимоти готов возвращаться домой.

25. ЭЛИ

Сколько бы я ни прокручивал в мозгу короткий диалог с братом Энтони, я никак не мог прийти к однозначному ответу. Вводил ли он меня в заблуждение? Изображал ли неведение? Делал вид, что знает нечто, чего на самом деле не знает? Выла ли это лукавая усмешка посвященного или туповатая ухмылка обманщика?

Я говорил себе, что «Книга Черепов», возможно, известна им под каким-то другим названием. Могло случиться и так, что в ходе своих перемещений ив Испании в Мексику и из Мексики в Аризону они претерпели некие основополагающие сдвиги своей теологической символики. Несмотря на уклончивый ответ брата, я был убежден, что это место восходит своим происхождением прямо от каталонского монастыря, в котором была написана обнаруженная мной рукопись.

Я принял ванну. Чудеснейшая ванна в моей жизни, венец всех ванн, апофеоз. Выбравшись из великолепнейшего бассейна, я обнаружил, что моя одежда исчезла, а дверь заперта. Я влез в вы-

цветшие, поношенные, тесные шорты, которые они мне оставили. (Они?) И стал ждать, ждать, ждать. Читать нечего, смотреть не на что, если не считать красивой каменной маски, изображающей пучеглазый череп и выложенной мозаикой из бесчисленного количества кусочков нефрита, перламутра, обсидиана и бирюзы; сокровище, шедевр. Я подумывал, не забраться ли в бассейн еще раз, просто чтобы убить время. Потом моя дверь открылась — не было слышно ни поворота ключа, ни щелчка замка — и вошел некто, кого я с первого взгляда принял за брата Энтони. Но при более внимательном рассмотрении оказалось, что это не он: Чуть повыше, чуть поуже в плечах, кожа чуть светлее, но в остальном — то же самое телосложение обожженного солнцем, крепкого, коренастого псевдо-Пикассо. Необычным и тихим, бархатистым голосом Питера Лорре он произнес:

— Я — брат Бернард. Прошу следовать за мной.

По мере того как мы продвигались по коридору, он казался все длиннее. Мы шли и шли, брат Бернард вышагивал впереди, а я неотрывно разглядывал его странно выступающий позвоночник. Приятное ощущение — босиком по гладкому каменному полу. По обеим сторонам коридора

таинственные двери из роскошного дерева: и комнаты, комнаты, комнаты. На стенах — фантастические мексиканские изделия на миллионы долларов. Все божества из кошмаров пялятся на меня сверху совиными взглядами. Освещение выключено, а желтый неяркий свет изливается от редко расставленных светильников в форме черепов — еще одна мелодраматическая деталь.

Когда мы приблизились к главной части здания — перекладине «П», — я заглянул через правое плечо брата Бернарда и футах в сорока-пятидесяти впереди совершенно неожиданно заметил женскую фигуру. Я видел, как она неспешно вышла из последней комнаты этого спального крыла, и исчезла в главной части здания: невысокая, стройная женщина в чем-то вроде мини-платья, едва прикрывающего бедра, из какой-то мягкой, складчатой, белой ткани. Ее темные, отливающие глянцем волосы падали ниже плеч, очень загорелая кожа, резко контрастировала с белизной одеяния. Эффектно торчащие груди не оставляли сомнений относительно ее пола. Лица я толком разглядеть не смог. Для меня стало неожиданностью то, что в этом самом Доме Черепов есть не только братья, но и сестры, хотя вполне возможно, что это прислуга,

так как здесь повсюду царит безукоризненная чистота. Я понимал, что спрашивать о ней брата Бернарда бесполезно: он отгородился молчанием как броней.

Он меня доставил в большое помещение парадного характера, очевидно, не то, где нас приветствовал брат Энтони, поскольку я не заметил никаких следов люка, ведущего в тоннель. И фонтан здесь выглядел иначе: он был повыше, больше напоминал по форме тюльпан, хотя фигура, из которой вытекала вода, очень походила на ту, что венчала фонтан в другой комнате. Сквозь открытые балки потолка я увидел угасающий предвечерний свет. Было жарко, но не так душно, как накануне.

Нед, Оливер и Тимоти были уже здесь. Все трое, одетые лишь в шорты, выглядели напряженно и неуверенно. У Оливера на лице застыло то особое выражение оцепенения, которое он принимал в минуты сильного стресса. Тимоти пытался напустить на себя пресыщенный вид, но это ему плохо удавалось. Нед подмигнул мне — то ли ободряя, то ли ехидничая.

Еще в комнате было около дюжины братьев. Они казались отлитыми по одной форме и должно быть являлись, если не родными братьями,

то уж, во всяком случае, двоюродными. Ни один из них не был выше пяти футов семи дюймов, а некоторые имели рост в пять футов четыре дюйма и меньше. Лысые. Широкогрудые. Загорелые. Крепкие на вид. Обнажены, если не считать шортов. У одного из них, которого я признал за брата Энтони — а это именно он и был, — на груди висел небольшой зеленый медальон; у трех остальных тоже имелись подобные медальоны, но сделанные из более темного камня, вероятно, оникса. Женщины, пересекшей мне дорогу, в комнате не было.

Врат Энтони жестом показал, чтобы я присоединялся к своим спутникам. Я занял место рядом с Недом. Тишина. Напряженность. Я еле подавил позыв расхохотаться — настолько все было нелепо! Кем, интересно, считают себя эти маленькие напыщенные люди? К чему эта показуха с черепами, это действо, напоминающее очную ставку?

Брат Энтони с серьезным видом изучал нас, будто оценивая. Ни единого звука, кроме нашего дыхания да радостной капели фонтана. Немножко серьезной музыки на заднем плане, прошу вас, маэстро. More stupebit et nature, cum resurget creatura, judicanti responaura. Смерть и Природа

стоят в изумлении, когда все Сущее восстает, чтобы отвечать перед Судией. Отвечать перед Судией. Вы и есть наш Судия, брат Энтони? Quando Judex est venturus, cuncta stricte discus-surusl Заговорит ли он когда-нибудь? Должны ли мы так и оставаться целую вечность между рождением и смертью, между чревом и могилой? Ага! Они действуют по сценарию! Один из братьев помельче, без медальона, подходит к нише в стене, достает оттуда тонкую книжку, искусно переплетенную в блестящий красный сафьян, и подает ее брату Энтони. Мне не надо говорить, что это за книга: и так знаю. Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur. Написанная книга будет принесена, в которой все содержится. Unde mundus judicetur. По которой мир будет осужден. Что я могу сказать? Царь всемогущий, спасающий по воле своей тех, кто заслуживает спасения, спаси меня, о кладезь милосердия! Теперь брат Энтони смотрит прямо на меня.

— В нынешние времена, — мягко, негромко, звучно проговорил он, — немногие читают «Книгу Черепов». Как случилось, что вы столкнулись с ней?

— Старинная рукопись, — сказал я. — Выла запрятана и заброшена в университетской библио-

теке. Мои исследования… случайное открытие… любопытство заставило меня ее перевести…

Врат кивнул.

— А потом пришли к нам? Как это было?

— Заметка в газете, — ответил я. — Что-то насчет образов, символики… мы случайно на нее наткнулись, у нас начались каникулы, и мы решили съездить сюда и посмотреть, если… если…

— Да, — произнес брат Энтони. Никакого вопроса не последовало. Безмятежная улыбка. Он смотрел на меня открытым взглядом, ожидая, очевидно, что я скажу дальше. Нас было четверо. Мы прочитали «Книгу Черепов», и нас было четверо. Формальная сторона заявки внешне в порядке. Exaudi operationem meam, ad te omnis caro veniet[20]. Я не мог говорить. Я безмолвно стоял в бесконечно продолжавшейся тишине, надеясь, что Нед произнесет слова, не желавшие сходить с моих губ, что их скажет Оливер Тимоти. Брат Энтони ждал. Он ждал меня, он будет ждать до трубных звуков Страшного суда, до заключительных аккордов. Говори. Говори. Говори.

И я заговорил, слыша свой голос как бы со стороны, будто записанный на магнитофон.

---

[20] Примечания: 20

Сознаю сотворенное мною и предаю тела наши в твои руки.

— Мы четверо… прочитавшие и постигшие смысл «Книги Черепов»… прочитавшие и постигшие… желаем подвергнуться… желаем пройти Испытание. Мы четверо… мы четверо предлагаем себя… в качестве кандидатов… мы четверо предлагаем себя в качестве… — Я запнулся. Был ли мой перевод правильным? Поймет ли он мой язык? — В качестве Вместилища, — закончил я.

— В качестве Вместилища, — повторил брат Энтони.

— Вместилища. Вместилища. Вместилища, — хором произнесли братья.

Разыгрывающаяся сцена стала вдруг напоминать оперу! Да, я превратился в тенора из «Турандот», патетически требующего, чтобы ему назвали роковые загадки. Все это казалось бессмысленной театральщиной, абсурдным и напыщенным лицедейством, противоречащим всякому здравому смыслу, всему происходящему в мире, где радиосигналы передаются через спутники, где волосатые мальчики рыщут в поисках травки, а дубинки staatapolizei[21] обрушиваются на головы демонстрантов в пяти десятках американских городов. Неужели мы сможем стоять вот

---

[21] Примечания: 21
полицейских (нем.).

так же здесь и распевать про черепа и вместилища? Но нас ждали еще более странные вещи. Брат Энтони величаво кивнул тому, кто принес ему книгу, и этот брат снова направился к нише и достал оттуда массивную, тщательно отполированную каменную маску. Он подал ее брату Энтони, который наложил маску на лицо, а один из братьев с медальоном вышел вперед, чтобы завязать сзади ремешок. Маска закрыла лицо брата Энтони от верхней губы до макушки. Она придала ему вид живого черепа: его холодные яркие глаза сверкнули в мою сторону из глубоких каменных глазниц. Ну да, конечно.

— Известно ли вам четверым об условиях, налагаемых Девятым Таинством? — спросил он.

— Да, — ответил я.

Брат Энтони ждал, пока не получил утвердительных ответов от Неда, Оливера и Тимоти, произнесшего «да» довольно сдержанно.

— Вы решаетесь подвергнуться Испытанию не из легкомыслия и, следовательно, отдаете себе отчет, с какими «опасностями» вам предстоит оттолкнуться и чем вы будете вознаграждены за них. Вы предоставляете себя полностью и без внутренних колебаний. Вы пришли сюда, чтобы принять участие в священнодействе, а не забав-

ляться игрой. Вы полностью предаетесь в руки Братства и, в частности. Хранителям. Понимаете ли вы все это?

Да, да, да и — наконец — да.

— Подойдите ко мне. Приложите руки к маске. Мы осторожно, будто боясь электрического разряда от холодного камня, прикоснулись к ней.

— В течение многих лет не имели мы Вместилища, — заговорил брат Энтони. — Мы высоко ценим ваше присутствие и выражаем вам свою признательность за то, что вы появились среди нас. Но теперь я должен сказать вам: если мотивы вашего появления здесь и были суетными, то теперь вы не сможете покинуть этот Дом до окончания срока вашего кандидатства. Сохранение тайны — одно из наших правил. Как только начинается Испытание, жизни ваши принадлежат нам, а мы не допустим, чтобы кто-либо покинул наши владения. Вот Девятнадцатое Таинство, о котором вы не могли прочитать: если один из вас покинет это место, трое оставшихся искупят его поступок. Понятно ли это в полной степени? Мы не допустим колебаний, и вы станете стражами друг для друга, зная, что если среди вас найдется один отступник, то все остальные без исключения погибнут. Наступил момент принятия

решения. Если условия слишком суровы, отнимите руки от маски, и мы позволим вам четверым уйти с миром.

Я колебался. Этого я не ожидал: смерть в наказание за уход посреди Испытания! Неужели они не шутят? А что, если через пару дней мы выясним, что ничего стоящего они дать не могут? И тогда нам придется оставаться здесь месяц за месяцем, пока они, в конце концов, не скажут, что нашему испытанию пришел конец и мы снова свободны? Такие условия казались неприемлемыми: я чуть не убрал руку. Но я вспомнил, что пришел сюда для совершения акта веры; что я отдаю бессмысленную жизнь в надежде добыть жизнь, исполненную смысла. Да. Я твой, брат Энтони, что бы ни случилось. Я не отвел руку от маски. Как бы там ни было, разве смогут эти малорослые человечки что-нибудь нам сделать, если мы решим выйти отсюда? Это — лишь очередной театрализованный ритуал, как и маска, как и хоровой распев. И я примирился с самим собой.

У Неда, по всей видимости, тоже были свои сомнения: я осторожно наблюдал за ним и заметил, как его пальцы чуть дернулись, но остались на месте. Рука Оливера на краю маски не шелохнулась. Тимоти имел самый нерешительный вид:

он нахмурился, посмотрел на нас, на говорящего, покрылся испариной, отнял пальцы секунды на три, а потом отчаянным жестом прижал их к маске настолько резко, что брат Энтони чуть не оступился от этого прикосновения.

Дело сделано. Мы дали клятву. Брат Энтони снял маску.

— Теперь вы пообедаете с нами, — сказал он, — а с утра все начнется.

26. ОЛИВЕР

Итак, мы оказались здесь, это на самом деле случилось, мы в Доме, и нас приняли кандидатами. Жизнь вечную тебе предлагаем. Это установленный факт. Все настоящее. Разве? А если ты каждое воскресенье с верой в сердце посещаешь церковь, молишься, ведешь безгрешную жизнь и кладешь пару долларов на поднос, то попадешь в рай и будешь жить вечно меж ангелов и апостолов? Так говорят, но можно ли этому верить? Существует ли рай? Есть ли ангелы и апостолы? Какой толк от прилежного хождения в церковь, если всех прочих условий сделки не существует? А Дом Черепов существует на самом деле, как и Братство Черепов, как и Хранители — брат Энтони относится к числу Хранителей, — а мы стали

Вместилищем, я будет Испытание, но настоящее ли все это? Хоть что-нибудь? Жизнь вечную предлагаем тебе, но предлагают ли они ее на самом деле? Или все это — просто мечта, вроде сказочек про то, как ты отправишься жить среди ангелов и апостолов?

Эли считает, что все это настоящее. Нед, кажется, думает так же. Тимоти то ли забавляют, то ли раздражают все эти вещи: трудно сказать. А я? Что думаю я? Я чувствую себя как лунатик. Это сон наяву.

Я все время пытаюсь понять — и не только здесь, а везде, где бы я ни был: происходит ли со мной что-нибудь на самом деле? Действительно ли я связан с окружающим, подключен к нему? А если нет? Что, если все испытываемые мной ощущения — лишь смутные, слабые отзвуки того, что чувствуют другие? Как я могу это определить? Когда я пью вино, ощущаю ли я весь содержащийся в нем вкус, и что ощущают они? Или до меня доходит лишь призрак его аромата? Когда я читаю книгу, понимаю ли я все слова на странице или только думаю, что понимаю? Прикасаясь к девичьему телу, чувствую ли я его плоть? Иногда мне кажется, что все мои органы чувств слишком слабы.

Порой я думаю, что я — единственный человек на свете, который ничего не ощущает в полной мере, но у меня нет возможности сказать об этом, подобно тому как не различающий цвета человек не может сказать, истинные ли цвета те, что он видит. Иногда мне кажется, что я живу в кино. Я — просто тень на экране, переходящая от одного бессмысленного эпизода к другому в соответствии со сценарием, написанным кем-то другим, каким-нибудь умалишенным, каким-нибудь орангутангом, каким-нибудь свихнувшимся компьютером, и я не обладаю ни объемностью, ни поверхностью, ни осязаемостью, ни реальностью. Все лишено смысла, все ненастоящее. Вся жизнь — длинный киносеанс. И так со мной будет всегда.

Временами на меня находят приступы безысходности. Тогда я ни во что не могу поверить. Сами слова теряют свои значения и превращаются в пустые звуки. Все тогда становится абстрактным, и не только такие туманные слова, как «любовь», «надежда», «смерть», но даже самые конкретные слова — «дерево», «улица», «кислый», «горячий», «мягкий», «лошадь», «окно». Я не могу уверовать в существование чего-либо, поскольку его название превращается просто в шум. Содержание

вымывается из слов. «Жизнь». «Смерть». «Все». «Ничто». Ведь они остались такими же, правда? Что же тогда такое реальность, а что — нереальность, и какая между ними разница? Не является ли тогда вся Вселенная лишь кучей атомов, которые мы располагаем в значимом порядке посредством нашей способности к восприятию? И могут ли собранные нами сгустки восприятия быть разобраны так же быстро, если мы перестанем верить в происходящее? Я просто откажусь воспринимать ту абстрактную предпосылку, что все мною наблюдаемое, все, что я считаю мною наблюдаемым, действительно здесь присутствует. Так, чтобы я смог пройти сквозь стену этой комнаты, если мне удастся отвергнуть ее существование. Чтобы я смог жить вечно, если я отвергну существование смерти. Чтобы я смог умереть вчера, если мне удастся отвергнуть существование сегодняшнего дня. Я вхожу в такое состояние и погружаюсь все глубже и глубже, увлекаемый водоворотом собственных мыслей, пока не пропал, пропал, пропал навсегда.

Но мы здесь. Все происходит на самом деле. Мы внутри. Они приняли нас кандидатами.

Все решено. Все настоящее. Но «настоящее» — лишь шум. «Настоящее» — ненастоящее. Я думаю,

что больше не связан с окружающим. Больше не подключен. Остальные трое могут пойти в ресторан и думать, что вгрызаются в изысканный, сочный, прожаренный бифштекс: но я-то знаю, что вгрызаюсь всего лишь в кучку атомов, в абстрактное понятие о том, что мы обозначили этикеточкой «бифштекс», а ведь никак нельзя насытиться абстрактным понятием. Я отрицаю реальность бифштекса. Я отрицаю реальность Дома Черепов. Я отрицаю реальность Оливера Маршалла. Я отрицаю реальность реальности.

Должно быть, слишком долго я сегодня пробыл на солнце.

Мне страшно. Я распадаюсь. Я не подключен. И я никому не могу сказать об этом. Потому что я и их отрицаю. Я отверг все. Господи, помоги, но я отверг и Бога! Я отверг смерть и отверг жизнь. Как это спрашивают дзэн-буддисты: какой звук, если хлопнула одна рука? Куда девается пламя свечи, если ее задуть?

Куда девается пламя?

Мне кажется, что и я подеваюсь туда же, и скоро.

27. ЭЛИ

Итак, все начинается. Ритуалы, диета, упражнения, медитация и все прочее. Нет сомнений, что пока мы видели лишь верхушку айсберга. Многое еще предстоит узнать: к примеру, мы пока еще не знаем, когда будут выполнены условия Девятого Таинства. Завтра, в следующую пятницу, к Рождеству, когда? Мы уже окидываем друг друга зловещими взглядами, всматриваясь сквозь лицо в находящийся под ним череп. Ты, Нед, убьешь себя за нас? А ты, Тимоти, не собираешься ли ты убить меня, чтобы самому остаться в живых? Эту сторону проблемы мы не обсуждали вслух ни разу: кажется, что об этом не то что говорить, во и думать страшно. Возможно, эти требования имеют символический, метафорический характер. А может быть, и нет. Меня это беспокоит.

С самого начала всей этой затеи я ощущал невысказанные предположения по поводу того, кому уйти, а кому остаться: мне — умирать от их рук, а Нед сгинет по своей воле. Конечно, я это отрицаю. Я здесь, чтобы добыть жизнь вечную. Не знаю, кто из них тоже хочет этого по-настоящему.

Нед, наш странноватый Нед, способен смотреть на самоубийство как на лучшее из своих стихотворений. Тимоти не производит впечатления человека, сильно заинтересованного в продлении жизни, хотя я и подозреваю, что он от него не откажется, если оно достанется ему ценой небольших усилий. Оливер настаивает на том, что совершенно не согласен умирать, и создается впечатление, что он всецело поглощен этим: но Оливер гораздо менее уравновешен, чем может показаться на вид, и его мотивы не поддаются точному обоснованию. При соответствующей философской обработке он может увлечься мыслью о смерти точно так же, как, по его словам, он одержим мыслью о жизни. Так что я не могу сказать, кто выживет, а кто сгинет после Девятого Таинства. Но действую я осмотрительно и буду так действовать, сколько бы мы здесь ни находились. (А сколько, интересно, мы здесь будем? Мы, в общем-то, об этом еще не думали. Пасхальные каникулы закончатся, насколько я понимаю, дней через шесть или семь. Испытание к тому времени наверняка не завершится. У меня такое впечатление, что оно должно тянуться месяцы, если не годы. Но все же, сможем ли мы отсюда выбраться на следующей неделе? Мы поклялись

этого не делать, хотя братья, конечно, вряд ли нам помешают, если мы все решим слинять как-нибудь посреди ночи. Кроме того, я хочу остаться. На несколько недель, если потребуется. На несколько лет. Во внешнем мире нас объявят пропавшими без вести. Регистрационные бюро, призывные комиссии, наши родители — все будут гадать, куда мы пропали? Если, впрочем, наши следы не приведут сюда. Братья перетащили наши вещи из машины. Сама же машина осталась стоять возле тропы в пустыне. Может быть, ее засечет полиция штата? Пошлют ли они человека по этой тропинке на поиски владельца сверкающего «седана»? Слишком многое мы пустили на самотек. Но мы здесь останемся на все время Испытания. Я здесь останусь, что бы ни случилось.)

А что, если обряд Черепов именно так и проводится?

Я не буду жить здесь, как эти братья, когда получу .требуемое. Нет, конечно, я могу проторчать тут лет пять или десять просто для приличия, из чувства благодарности. Но потом я отсюда слиняю. Мир большой: чего ради проводить вечность в какой-то дыре в пустыне? У меня свои представления о грядущей жизни. В некоторой

степени они сходны со взглядами Оливера: я собираюсь утолить жажду впечатлений. Я буду жить последовательно разными жизнями, выжимая каждую из них до капельки. Лет десять, к примеру, я проведу на Уолл-стрит, сколачивая состояние. Если отец прав, а я в этом не сомневаюсь, любой, обладающий умеренными умственными способностями, может освоить рынок, делать лишь противоположное тому, чем занимаются те, кого считают умными. Это все бараны, скот, кучка гойских копов. Тупые, алчные, нацеленные на выполнение то одной, то другой своей прихоти. Так что сыграю на противоположной стороне и выйду из игры с парой-тройкой миллионов, которые вложу в хорошие акции с хорошими дивидендами, ничего рискованного, с надежным доходом. В конце концов, на эти дивиденды я собираюсь прожить последующие пять или десять тысяч лет.

Теперь я обрел финансовую независимость. Что дальше? Теперь лет десять разврата. А что мешает? Когда денег хватает и уверенности в себе хоть отбавляй, можно купить любую женщину в мире, верно? Каждую неделю буду иметь дюжины таких, как Марго. Мое право. Немножко похоти не помешает: это не интеллектуально, это не

относится к Важному, но порево имеет свое место в законченной модели бытия. Ладно. Деньги и похоть. Потом я займусь своим душевным здоровьем. Пятнадцать лет в монастыре траппистов. Ни с кем не перекинусь ни словом; буду заниматься медитацией, писать стихи, постараюсь добраться до Бога, постараюсь прорваться к сути мироздания. Пусть это займет двадцать лет. Освободить, очистить душу, поднять ее к высотам…

Затем пойдем дальше и займемся телом. Восемь лет физических упражнений на полную катушку. Эли — пляжный мальчик. Больше не заморыш весом в девяносто семь фунтов. Серфинг, лыжи, выиграю чемпионат по индейской борьбе в Ист-Виллидж. Что дальше? Музыка. Никогда не удавалось заняться музыкой так, как хотелось. Я поступлю в Джулиард, за четыре года пройду все, проникну в самую суть музыкального искусства, глубоко разберусь с поздними квартетами Бетховена, с Бахом, Бергом, Шенбергом, Ксеыакисом, со всеми самыми сложными вещами и воспользуюсь методами, изученными в монастыре, чтобы добраться до святая святых мира звука. Может быть, сам начну сочинять. Возможно, буду писать критические статьи. Даже стану исполнителем. Эли Штейнфельд с программой из Баха в Карне-

ги-Холл. На музыку пятнадцать лет, правильно?

Все это займет лет шестьдесят моего бессмертия. А что дальше? Двадцать первый век в самом разгаре. Теперь посмотрим мир. Пойду, как Будда, пешком из страны в страну, волосы отрастут, буду носить желтые одеяния, в руках миска для милостыни, а раз в месяц буду забирать чеки в «Американ Экспресс» в Рангуне, Катманду, Джакарте, Сингапуре. Познаю человечество на уровне брюха, буду есть любую пищу, муравьев с перцем, печеные яйца, буду спать с женщинами всех рас и вероисповеданий, живущих в хижинах с протекающими крышами, в иглу, в шатрах, в плавучих домах. На это, двадцать лет, и я получу неплохое представление о культурном разнообразив человечества. Затем, я думаю, вернусь к своей изначальной специальности — лингвистике, филологии — и сделаю карьеру, от которой я сейчас отошел. Лет за тридцать я сумею написать полную монографию о неправильных глаголах в индоевропейских языках, или разгадаю тайну этрусского языка, или переведу полный свод угаритской поэзии. Какую область ни возьми, любая распаляет воображение.

Потом я заделаюсь гомосексуалистом. Когда в твоем распоряжения жизнь вечная, тебе надо по-

пробовать все хотя бы по разу, а Нед утверждает, что жизнь голубого прекрасна. Лично я вообще-то всегда интуитивно, инстинктивно предпочитал девушек — они нежнее, приятнее на ощупь, более гладкие, — но когда-то же надо посмотреть, что может предложить и противоположный пол. Sub specie aeternitatia[22], какая разница, в какую дырку совать?

Когда я снова вернусь на стезю гетеросексуальности, я отправлюсь на Марс. Это будет примерно к 2100 году: к тому времени, я полагаю, Марс уже будет заселен. Двенадцать лет на Марсе. Я буду заниматься физическим трудом, вести бремя первопроходца. Потом двадцать лет надо посвятить литературе: десять лет на то, чтобы прочитать все стоящее, что когда-либо было написано, а десять — на создание романа, который встанет в один ряд с лучшим из написанного Фолкнером, Достоевским, Джойсом, Прустом. Почему бы и не сравняться с ними? Я больше не буду каким-то сопляком; за моими плечами останутся лет сто пятьдесят полнокровной жизни, самое обширное и глубокое самообразование, каким не обладал еще ни один человек, и я буду находиться в самом

---

[22] Примечания: 22
С точки зрения вечности (лат.).

расцвете сил. И если я усердно возьмусь за дело, буду писать по странице в день, по странице в неделю, потрачу пять лет на разработку композиции, прежде чем выведу первое слово, я смогу создать бессмертный шедевр. Под псевдонимом, конечно.

Вообще, наверное, надо будет особо подумать над тем, как бы менять имя каждые восемьдесят-девяносто лет. Даже в замечательном безоблачном будущем люди, скорее всего, с подозрением отнесутся к кому-то, кто не собирается умирать. Долгожительство — это одно, а бессмертие — совсем другое дело. Мне придется каким-то образом переводить на себя свои доходы, выдавать себя за наследника себя самого. Мне придется ложиться на дно и вновь всплывать на поверхность. Перекрашивать волосы, отращивать и сбривать бороду, усы, снимать надевать парики контактные линзы. Постараться не подходить слишком близко к правительственным учреждениям: стоит только заложить отпечатки пальцев в центральный компьютер, и тогда у меня возникнут проблемы. Как быть со свидетельствами о рождении в момент очередного появления на свет? Надо будет что-нибудь придумать. Если у тебя хватит ума на то, чтобы жить вечно, то

неуж-то не сообразишь, как обойти бюрократическую машину? А что будет, если я влюблюсь? Женюсь, заведу детей, стану наблюдать за тем, как моя жена увядает и стареет, как стареют и мои дети, в то время как я сам остаюсь молодым и цветущим? Возможно, жениться вообще не стоит или разве что для полноты ощущений лет на десять-пятнадцать, а потом развестись, даже если я буду продолжать любить жену, чтобы избежать дальнейших осложнений. Посмотрим.

На чем мы остановились? Все дальше в двадцать второй век, свободно распределяя десятилетия. Десять лет побыть ламой на Тибете. Десять лет — ирландским рыбаком, если к тому времени еще будет что ловить. Двенадцать лет — почетным членом сената США. Потом я займусь точными науками, которые были большим пробелом в моей жизни. Я смогу с ними справиться, если приложу достаточно терпения и усердия — физика, математика, все, что понадобится изучить. На это я пожертвую сорок лет. Я собираюсь сравняться с Эйнштейном и Ньютоном, сделать полномасштабную карьеру, на протяжении которой я буду действовать на высочайшем интеллектуальном уровне. А потом? Тогда, пожалуй, можно будет вернуться в Дом

Черепов посмотреть, как здесь поживают брат Энтони и все остальные. Пять лет в пустыне. И снова уйти отсюда, вернуться в мир. О, что это будет за мир! Появятся новые профессии, будут изобретены такие вещи, о которых никто еще даже не помышляет: лет двадцать я проведу в качестве специалиста по дематериализации, пятнадцать — по поливалентной левитации, лет десять побуду разносчиком симптомов. А потом? Что потом? Все дальше и дальше. Возможности будут безграничными. Но лучше повнимательней присматривать за Тимоти и Оливером, может, даже и за Недом из-за этого растреклятого Девятого Таинства. Если, скажем, парочка моих приятелей пришьет меня в следующий вторник, то это нарушит так здорово продуманные долгосрочные планы.

28. НЕД

Братья в нас влюблены. Другого слова не подберешь. Они стараются сохранять каменное выражение на лицах, пытаются держаться высокомерно, отчужденно, но им не удается скрыть радость от нашего присутствия. Мы вливаем в них новые силы. Мы вызволили их из бесконечной рутины. Целую вечность с гаком не было у них новообращенных, не было вливаний свежей, молодой крови: они все время оставались закрытым сообществом из пятнадцати братьев, совершавших обряды, работавших на полях, выполнявших повседневные обязанности. А теперь появились мы, чтобы пройти обряд посвящения, и они любят нас за то, что мы к ним пришли.

Они все принимают участие в нашем просвещении. Врат Энтони руководит медитацией и спиритизмом. Брат Бернард занимается с нами физическими упражнениями. Брат Клод, который отвечает за кухню, следит за нашим питанием. Брат Миклош витиевато посвящает нас в историю ордена, снабжая довольно туманной информацией. Ксавьер, брат-исповедник,

через несколько дней он начнет заниматься с нами психотерапией, которая, судя по всему, составляет сердцевину всего процесса. Франц, брат-труженик, демонстрирует нам наши обязанности в качестве послушников — нужно рубить дрова и носить воду. Каждому из оставшихся братьев отведена своя роль, но пока у нас еще не было возможности встретиться с ними. Есть здесь в женщины, но непонятно, сколько их: может быть, три-четыре, а может, и с десяток. Увидеть их можно лишь случайно, время от времени. На глаза они попадаются лишь издали, когда по каким-то таинственным делам переходят из комнаты в комнату, никогда не останавливаясь, не глядя на нас. Как и братья, женщины одеты на один манер: в коротких белых юбках, а не в потрепанных синих шортах. У тех, что я видел, длинные темные волосы и полные груди, а Тимоти, Оливер и Эли тоже ни разу не видели худых, блондинок или рыжих. Все они очень похожи, почему я и не могу с уверенностью определить их число: не могу точно сказать, вижу ли я одну и ту же женщину, или все время разных. На второй день пребывания здесь Тимоти спросил у брата Энтони о женщинах, но ему было мягко сказано о запрете задавать любому из братии прямые

процедурные вопросы; нам все станет ясно в соответствующее время, как пообещал брат Энтони. Этим мы и должны удовлетвориться.

День полностью расписан. Мы поднимаемся с восходом солнца; при отсутствии окон остается полагаться на брата Франца, который проходит на рассвете по коридору спального крыла и стучит в двери. Омовение — первая обязанность. Потом мы выходим в поле, чтобы час поработать. Братья выращивают все необходимое для пропитания в саду, расположенном примерно в двух сотнях ярдов позади здания. Сложная оросительная система качает воду из какого-то глубокого источника; должно быть, эта система влетела в приличную сумму, да и сам Дом Черепов стоит бешеных денег, но я подозреваю, что Братство невероятно богато. Как отметил Эли, любая самосохраняющаяся организация, которая на три-четыре столетия может разместить свои средства под пять или шесть процентов годовых, в конце концов станет владелицей целых континентов.

Братья выращивают пшеницу, зелень и разнообразные фрукты, ягоды, корнеплоды и орехи; я до сих пор не имею понятия, что собой представляют растения, которые мы так заботливо

пропалываем и обхаживаем, но подозреваю, что многие из них весьма экзотичны. Рис, бобы, кукуруза и «крепкие» овощи вроде лука здесь под запретом. Пшеницу, насколько я догадываюсь, здесь терпят скрепя сердце, считая ее неподходящей с духовной точки зрения, но почему-то необходимой: прежде чем из муки выпечь хлеб, она подвергается тщательнейшему пятикратному просеиванию и десятикратному перемалыванию, что сопровождается медитацией особого рода. Мяса братья не едят; нам тоже придется обходиться без него, пока мы здесь. По всей видимости, мясо является источником разрушительных чувств. Соль запрещена. Перец — вне закона. То есть только черный перец: красный же в здешнем рационе присутствует, и братия просто балдеет от него, поглощая, как мексиканцы, в самых разных видах — свежий, сушеные стручки, молотый, маринованный и т. д. и т. п. Выращивают они какой-то очень острый сорт. Мы с Эли приправы любим и потребляем его вполне добровольно, хоть иногда и слезы наворачиваются, но Тимоти и Оливер, взращенные на щадящей диете, его вообще не переносят. Еще здесь очень уважают яйца. На задворках находится курятник, переполненный несушка-

ми, и яйца в том или ином виде присутствуют в меню три раза в день. Братья также делают какие-то слабоалкогольные настойки на травах под руководством брата Мориса, отвечающего за винокуренную отрасль.

Когда заканчивается час наших трудов в полях, звучит гонг: мы возвращаемся в свои комнаты и снова омываемся, после чего подходит время завтрака, который накрывается в одной из общих трапезных на изящном каменном возвышении. Меню составляются в соответствии с принципами арканы, в которые мы еще не посвящены: судя по всему, цвет и структура того, что мы едим, при планировании имеет не меньшее значение, чем собственно пищевая ценность. Нас кормят яйцами, супами, хлебом, овощными пюре, обильно приправленными красным перцем; из напитков подается вода, что-то вроде пшеничного пива, а по вечерам — настойки на травах, но ничего больше. Пожиратель бифштексов Оливер жалуется на отсутствие мяса. Поначалу мне тоже не хватало мяса, но, как и Эли, я быстро приспособился к этой необычной диете. Тимоти ропщет про себя и хлещет настойки. На третий день за обедом он перепил пива и сблевал прямо на прекрасный каменный пол; брат Франц дождался,

пока он закончит, после чего подал ему тряпку и без слов приказал убрать за собой. Братья откровенно недолюбливают Тимоти и, возможно, побаиваются его, поскольку он на полфута выше любого из них и фунтов на девяносто тяжелее. Всех остальных, как я уже говорил, они любят, а умозрительно они любят и Тимоти.

После завтрака наступает время утренней медитации с братом Энтони. Говорит он немного, обеспечивая нам нужную духовную обстановку минимумом слов. Мы встречаемся в другом заднем крыле здания, расположенном напротив жилого крыла, полностью отведенного под культовые нужды. Вместо спален здесь часовни, числом восемнадцать, что, как я предполагаю, соответствует Восемнадцати Таинствам. Как и остальные помещения, они обставлены весьма скудно, производят чрезвычайно аскетичное впечатление и содержат целый ряд потрясающих художественных шедевров. Большей частью они относятся к доколумбовым временам, но некоторые кубки и образцы резьбы напоминают о средневековой Европе, а кое-какие непонятные предметы (из слоновой кости? Из камня?) вообще ни о чем мне не говорят. В атом же крыле находится большая библиотека, набитая книгами,

разными раритетами, если судить по виду. Но пока нам запрещено входить в эту комнату, хотя дверь в нее никогда не запирается.

Брат Энтони встречает нас в часовне, ближе всех расположенной к центральной части здания. Здесь пусто, если не считать неизбежной маски-черепа на стене. Он опускается на колени. Мы преклоняем колена вслед за ним. Он снимает с груди маленький нефритовый медальон, который, как и следовало ожидать, вырезан в форме черепа, и кладет его на пол перед нами. Глядя на него мы должны концентрировать свое внимание при медитации. Лишь брат Энтони в качестве брата-настоятеля обладает нефритовым медальоном, но подобные медальоны из полированного коричневого камня — то ли обсидиана, то ли оникса — имеют право носить братья Миклош, Ксавьер и Франц. Эти четверо — Хранители Черепов, элита братства.

Брат Энтони требует от нас поразмышлять над парадоксом: череп под кожей лица, символ смерти, спрятанный под нашими масками жизни. Предполагается, что посредством упражнения по «внутреннему видению» мы должны очиститься от позыва смерти, поглотив, полностью постигнув и уничтожив без остатка власть че-

репа. Не знаю, насколько успешно его удавалось каждому из нас: что нам еще запрещено, так это обмениваться впечатлениями по поводу своих достижений. Сомневаюсь, что Тимоти многого добился в медитации. У Оливера же явно есть успехи: он смотрит на нефритовый череп с маниакальным упорством, поглощая его, обволакивая, и мне кажется, что его дух идет еще дальше и проникает в него. Но в правильном ли направлении он движется? Эли как-то давно жаловался мне, что испытывает трудности в достижении высших уровней мистического опыта с помощью наркотиков; ум у него слишком шустрый и подвижный, и он несколько раз ломал кайф, когда метался в разные стороны, вместо того чтобы успокоиться и погрузиться в Сущее. Да и здесь, похоже, у него есть трудности в том, чтобы собраться: во время сеансов медитации напряженный и нетерпеливый вид, и, кажется, делает он это через силу, пытаясь впихнуть себя в ту область, которой не может достичь. Что касается меня, я получаю немало удовольствия от этого часа с братом Энтони: парадокс с черепом, вне сомнения, полностью соответствует моей склонности к иррациональному, и я отлично с этим управляюсь, хоть и не исключаю возможности

самообмана. Хотелось бы обсудить уровень своих успехов, если таковые имеются, с братом Энтони, но подобные вводящие в искушение расспросы здесь под запретом. Так что я преклоняю колени и каждый день смотрю на маленький зеленый череп, посылаю в путь свою душу и веду извечную внутреннюю борьбу между разъедающим цинизмом и униженной верой.

После часа, проведенного с братом Энтони, мы возвращаемся в поля. Выдергиваем сорняки, разбрасываем удобрения — все органические, естественно, — сажаем растения. Тут Оливер в своей тарелке. Он всегда старался скрыть свое деревенское нутро, но теперь вдруг начал щеголять им точно так же, как Эли начал выставлять напоказ словечки из идиша, хотя в синагоге не бывал со времени Бар-Митцвы, — синдром национальной гордыни. Оливер же относится к этносу аграриев и потому копает в рыхлит землю с ужасающим рвением. Братья стараются его притормозить: его энергия приводит их в смятение, но боятся они и того, что его хватит солнечный удар. Брат Леон, брат-лекарь, несколько раз беседовал с Оливером и указывал на то, что уже сейчас температура в разгар утра переваливает за девяносто градусов, а скоро будет еще больше. Но

Оливер, яростно пыхтя, роет с той же силой. Мне самому это ковырянье в земле кажется приятно странным и странно приятным. Это пробуждает романтическое настроение возврата к природе, которое, как я полагаю, теплится в сердце каждого чересчур урбанизированного интеллектуала. До сих пор мне не приходилось заниматься физической работой, требующей больше усилий, чем мастурбация, и поэтому полевые работы выматывают меня и физически, и умственно, но я усердно несу свой крест. Пока. Взаимоотношения Эли с крестьянским трудом складываются примерно так же, хотя относится он к этому с большим энтузиазмом, более приподнято: он говорит о физическом обновлении, получаемым им от Матушки-Земли. А Тимоти, которому, конечно, за свою жизнь приходилось только собственные шнурки завязывать, встал в позу крестьянина-джентльмена: noblesse oblige[23], говорит он каждым своим томным движением, исполняя все, что велят ему братья, но явно показывая, что соизволил испачкать свои ручки лишь поскольку находит забавным сыграть в их маленькую игру. Так или иначе, копаем мы все,

[23] Примечания: 23
положение обязывает (фр.).

каждый по-своему.

Около десяти или половины одиннадцатого жара становится неприятной, и мы все покидаем поля, за исключением троих братьев-фермеров, имен которых я еще не знаю. Они ежедневно проводят на улице десять-двенадцать часов: может быть, на них наложена епитимья? Все остальные — и братья, и Воспремники — идут по своим комнатам и снова совершают омовение. Затем мы вчетвером собираемся в дальнем крыле для ежедневной встречи с Миклошем, братом-историком.

Миклош — крепко сбитый, плотный человечек с руками толщиной с бедра, и с бедрами, как бревна.

Он выглядит старше прочих братьев, хотя я и признаю парадоксальность приложения категории сравнения «старше» к людям без возраста. В речи его звучит слабый, не поддающийся определению акцент, а его мыслительные процессы проходят явно нелинейно: он перескакивает с пятого на десятое, отвлекается, неожиданно меняет темы. Полагаю, что это делается намеренно, что его тонкий и глубокий ум далек от дряхлости и беспорядка. Вероятно, за несколько столетий ему просто надоели последовательные рассуждения;

уж мне бы наверняка это надоело.

Он ведет два предмета: происхождение и развитие Братства и историю вопроса о человеческом долгожительстве. По первой теме он максимально уклончив, будто решив не давать нам четкого представления. Мы очень старые, все время повторяет он, очень-очень старые, и я никак не могу, понять, что имеется в виду: братья или само Братство, хотя, как мне кажется, он подразумевает и то, и другое. Возможно, некоторые из братьев подвизаются здесь с самого начала, и их жизни тянутся не десятки лет или века, а целые тысячелетия. Он намекает на доисторические корни, пещеры в Пиренеях, Дордонь, Ляско, Альтамиру[24], тайное братство жрецов, появившееся еще на заре человечества, но в какой степени это правда, а в какой — сказка, я могу определить в не большей степени, чем правдивость версии о происхождении ордена Розенкрейцеров от фараона Аменхотепа IV. Однако когда брат Миклош говорит, меня посещают видения задымленных пещер, мерцающих факелов, полуобнаженных художников, одетых в косматые шкуры мамонтов и размалевывающих стены яркими пигментами,

---

[24] Примечания: 24
Пещеры, обитаемые в период палеолита.

знахарей, совершающих ритуальные жертвоприношения зубров и носорогов. И шаманов, перешептывающихся, кучкующихся, говорящих друг другу: «Мы не умрем, братья, мы будем жить, мы увидим, как Египет поднимается над нильскими болотами, мы увидим рождение Шумера, мы доживем, чтобы увидеть и Сократа, и Цезаря, и Иисуса, и Константина, и — о да! — мы все еще будем жить, когда всеуничтожающий гриб вспыхнет солнечным светом над Хиросимой и когда люди из железного корабля спустятся по трапу на поверхность Луны. Но говорил ли об этом Миклош, или все это привиделось мне в истоме полуденного зноя пустыни? Все туманно: все сдвигается, перемешивается и уходит, когда витиеватые слова брата Миклоша кружатся вокруг самих себя, качаются, танцуют, путаются. А еще он говорит нам, загадочно и иносказательно, об исчезнувшем континенте, о погибшей цивилизации, от которой произошла мудрость Братства. И мы смотрим на него широко открытыми глазами, тайком обмениваясь между собой изумленными взглядами, не зная, то ли усмехнуться скептически и презрительно, то ли раскрыть рты от восхищения. Атлантида! Как это брату удалось внушить нам эти картины страны

золота и хрусталя с широкими тенистыми проспектами, устремленными ввысь белоснежными зданиями, сверкающими колесницами, почтенными философами в развевающихся одеяниях, сверкающими медью приборами забытой науки, аурой благотворной кармы, звенящими звуками странной музыки, эхом отдающейся в залах огромных храмов, посвященных неведомым богам. Атлантида? Насколько узка переступаемая нами грань между фантазией и глупостью! Я ни разу не слышал от него этого названия, но он в первый же день вложил Атлантиду в мой мозг, а теперь я все больше укрепляюсь в мысли о правильности своей догадки, что Миклош действительно заявляет о претензиях на наследие Атлантиды. Откуда эти эмблемы-черепа на фасаде? Что это за черепа с драгоценными камнями, которые носят в этом большом городе на перстнях и в виде медальонов? Что это за миссионеры в красновато-коричневых рясах, переправляющиеся на материк, пробирающиеся в горные поселения, ошеломляющие охотников за мамонтами фонарями и пистолетами, высоко держащие священный Череп и повелевающие пещерным жителям пасть ниц, преклонить колени? И шаманы в пещерах с расписанными

стенами, присевшие у потрескивающих костров, перешептывающиеся, сговаривающиеся, в конце концов оказывающие почтение великолепным пришельцам, кланяются, целуют Череп, зарывают в землю своих собственных идолов, широкобедрую Венеру и резные пластинки из кости. Жизнь вечную тебе предлагаем, говорят пришельцы и показывают мерцающий экран, по которому проплывают виды их города, башни, колесницы, храмы, драгоценности, и жрецы кивают, хрустят костяшками пальцев, заливают водой священные костры, танцуют, хлопают в ладоши, подчиняются, покоряются, смотрят на сияющий экран, убивают жирного мастодонта, устраивают для гостей праздник дружбы. Так и начинается союз горцев и островитян тем холодным рассветом, так и пролился поток кармы н» закованный в лед материк, так и произошло пробуждение, передача знания. И когда приходит землетрясение, когда завеса раздирается на части, содрогаются? колонны, а над миром нависает черная пелена, когда проспекты и башни поглощаются разъяренным морем, что-то продолжает жить, что-то остается в пещерах. Тайны, ритуалы, вера, Череп, Череп, Череп! Это так было, Миклош? Так это было десять, пятнадцать, двадцать

тысяч лет в том прошлом, которое мы решили отрицать? Счастьем было в те времена остаться в живых! А ты все еще здесь, брат Миклош? Ты пришел к нам из Альтамиры, из Ляско, из самой обреченной Атлантиды, и ты, и брат Энтони, и брат Бернард, и все остальные, пережив Египет, пережив Цезаря, преклонив колени перед Черепом, выдерживая все испытания, накапливая богатства, возделывая землю, перемещаясь из страны в страну, из благословенных пещер в только что появившиеся неолитические деревни, с высокогорий в долины рек, передвигаясь по миру в Персию, в Рим, в Палестину, в Каталонию, изучая языки по мере их появления, разговаривая с людьми, выступая в качестве посланников их богов, возводя свои храмы и монастыри, приветствуя Исиду, Митру, Иегову, Иисуса, еще каких-то богов, впитывая все, выдерживая все, поместив Крест поверх Черепа, когда Крест был в моде, овладев искусством выживания, пополняя время от времени свои силы за счет приема Воспремников, всегда требуя свежей крови, хотя ваша кровь никогда не истощалась. А потом? Переселились в Мексику, после того как Кортес подготовил для вас ее народ. Здесь вы нашли страну, которая понимала власть смерти, здесь было именно то

место, где всегда царил Череп, принесенный, возможно, как и в вашу собственную страну, островитянами, то есть миссионерами из Атлантиды в Чолулу и в Теночтитлан, указав путь маске смерти. Благодатная почва на несколько веков. Но вы настойчиво стремитесь к постоянному обновлению и поэтому направили свои стопы еще дальше, прихватив с собой свою добычу, маски, черепа, скульптуры, ваши палеолитические сокровища на север, в безлюдные места, в пустыни Соединенных Штатов, в страну атомной бомбы, в страну боли. И на доходы, полученные в течение многих эпох, вы построили новый Дом Черепов. И вот, брат Миклош, ты сидишь здесь, и здесь же сидим мы. Так это и было? Или я все это вообразил, превратив твои туманные и двусмысленные слова в цветистую мечту-самообман? Как мне это определить? Смогу ли я когда-нибудь это узнать? Я знаю лишь то, что ты рассказал мне, что колышется, перетекает в моем разуме. И я вижу то, что вокруг меня, это засорение твоей первозданной образности ацтекскими, христианскими видениями, образами Атлантиды, и я могу только поражаться, Миклош, как это ты еще здесь, когда мамонты уже сошли со сцены, и пытаться понять, кто я: глупец или пророк.

Другая часть того, что брат Миклош должен передать нам, менее туманна, гораздо легче схватывается и усваивается. Это составляет семинар по продлению жизни, в ходе которого он бесстрастно перемещается во времени и пространстве в поисках идей, появившихся на свет, вполне вероятно, гораздо позже его самого. Для начала он нас спрашивает, зачем вообще противиться смерти? Разве это не естественное завершение, не желаемое освобождение от бремени, не окончание, благоговейно желаемое? Череп под лицом напоминает нам, что все живые существа ожидает погибель в свое время, и никто ее не избежит: зачем же тогда противиться всеобщей воле? Из праха ты родился, и в прах ты вернешься. Вся плоть исчезнет. Мы покинем этот мир так же, как и какие-нибудь кузнечика» и негоже кому бы то ни было испытывать жалкий страж перед неизбежным.

Да, но способны ли мы на столь философский взгляд? Если нам суждено уйти, то разве мы не можем испытывать желания оттянуть этот момент? Он задает риторические вопросы. Сидя со скрещенными ногами перед этим мускулистым воплощением эпох, мы не смеем прерывать течение его мысли. Он смотрит на нас невидящим

взглядом. А что, если, спрашивает он, кому-то действительно удастся отложить смерть на неопределенное время или по меньшей мере переместить ее в далекое будущее? Сохранение сил и здоровья, естественно, необходимое условие: нет достоинства в том, чтобы превратиться в *штрульдбруг* , стать старой, пускающей слюни и что-то лопочущей, малоподвижной разлагающейся кучей, разве не так? Подумайте о судьбе Тифона, который обратился к богам за избавлением .от смерти, и бессмертие было даровано ему, но не вечная юность: седой, иссохший, лежит он в закрытой комнате, все больше старея, оставаясь пленником своей тленной, разлагающейся плоти. Нет, к силе мы должны стремиться в той же степени, что и к долголетию.

Были и такие, замечает брат Миклош, кто с прет «рением относился к подобным исканиям и оспаривал пассивное приятие смерти. Он напоминает вам о Гильгамеше, который прошел от Тигра до Евфрата в поисках покрытого шипами древа вечности и проиграл его голодному змею. Гильгамеш, куда идешь ты? Жизни, которой ты жаждешь, тебе не отыскать, поскольку когда боги создали человечество, они наделили человечество смертью, но жизнь они оставили в

своих руках. Вспомните Лукреция, говорит он, Лукреция, заметившего, что бесполезно стремиться к продлению чьей-либо жизни, потому что, сколько бы лет мы ни добыли за счет этих устремлений, это ничто по сравнению с вечностью, которую нам суждено провести в смерти. Путем продления жизни мы ни на йоту неспособны сократить длительность нашей смерти… Мы можем бороться, чтобы остаться, но в свое время мы должны будем уйти, и неважно, сколько поколений мы переживем, нас все равно ожидает вечная смерть. И из Марка Аврелия[25]: «Хоть бы ты собирался прожить три тысячи лет и столько же раз по десять тысяч лет, все равно помни, что человек теряет лишь ту жизнь, которой сейчас живет…» Самое продолжительное и самое кратковременное сводятся, таким образом, к одному… все в вечности имеет те же формы и проходит по кругу… не имеет значения, увидит ли человек то же самое в течение ста лет, двух столетий или бесконечного времени. И фрагмент из Аристотеля, который я помню наизусть: «Поскольку все предметы на земле во все времена находятся в переходном состоянии, появляются на свет и

[25] Примечания: 25
Римский император философ.

исчезают… никогда они не будут вечными, если содержат в себе противоречивые свойства».

Такая вот беззащитность. Такой пессимизм. Прими, покорись, подчинись, умри, умри, умри!

А о чем говорит иудео-христианская традиция? Дни человека, рожденного от женщины, сочтены и полны печали. Он появляется подобно цветку и так же срезается: он пролетает, подобно тени, и продолжения не следует. Похоронная мудрость Иова, добытая после тяжелейших испытаний. А что скажет апостол Павел? Жизнь для меня — это Христос, а смерть — награда. Если суждена жизнь во плоти, то это означает для меня плодотворные труды. И все-таки не могу сказать, что именно я выберу. Я нахожусь между этими двумя возможностями. Я желаю уйти и быть с Христом, поскольку это гораздо лучше. Но, требовательно вопрошает брат Миклош, должны ли мы принять такое учение? (Он намекает на то, что Павел, Иов, Лукреций, Марк Ав-релий, Гильгамеш, всего-навсего новички, сосунки, безнадежно пережившие времена палеолита; он еще раз дает нам взглянуть на темные пещеры, когда переводит разговор в населенное зубрами прошлое.) Теперь он вдруг выбирается из той долины скорби и после резкого разворота мы возвращаемся

к цитатам из анналов долгожительства, всех тех громких имен, которыми Эли прожужжал нам все уши в течение снежных месяцев, когда мы собирались пуститься в эту авантюру, a way a lone a last a loved a long the riverrun (путь одинокий последний любимый длинный течением реки), мимо Адама и Евы от изгиба берега до дуги бухты, и Мик-лош показывает нам Острова Благословенных, Страну Гипербореев, кельт-скую Страну Юности, Страну Йима персов и даже Шаягри-Ла (смотри-ка, старый лис плачет, я современник, я врубаюсь! осознаю!) и дает нам капающий фонтан Понсе де Леона[26], дает нам рыбака Главка, пощипывающего травку рядом с морем и зеленеющего от бессмертия, дает нам истории из Геродота, дает нам Уттаракуру и дерево Джамбу, разворачивает перед нашими оглушенными ушами сотни сверкающих мифов, так что нам хочется выкрикнуть: «Да! Приди, Вечность!» и преклонить колена перед Черепом. А потом он делает очередной поворот, проводя нас по кольцу Мебиуса, заводя нас обратно в пещеры, дав нам почувствовать порывы ледяных ветров, холодный поцелуй плейстоцена, и, взяв нас за

[26] Примечания: 26
Испанский конкистадор.

уши, поворачивает нас на запад, давая возможность увидеть жаркое солнце, пылающее над Атлантидой, подталкивая нас, спотыкающихся, волочащих ноги, в сторону моря, в страны Заката, затонувших чудес и мимо них, к Мексике и ее демонообразным богам, ее богам-черепам, к злобно поглядывающему Уитцилопочтли и страшной змееобразной Коатликуэ[27], к красным алтарям Теночтитлана, к богу без кожи, ко всем парадоксам жизни в смерти и смерти в жизни; и змея с перьями смеется и трясет дрожащим хвостом, тук-тук; и мы оказываемся перед Черепом, перед Черепом, перед Черепом. Огромный гонг издает звуки, проникающие к нам в мозг из пиренейских лабиринтов, мы пьем кровь быков Альтамиры, мы вальсируем с мамонтами Ляско, слышим бубны шаманов, опускаемся на колени, прикасаемся лбами к камню, мы проходим по воде, мы плачем, мы содрогаемся при отзвуках барабанов атлантов, выбивающих дробь в трех тысячах милях через океан в ярости невосполнимой потери. И солнце поднимается, и свет согревает нас, и Череп улыбается, и объятия открываются, и плоть исчезает, и победа над смертью уже у нас

[27] Примечания: 27
Ацтекские божества.

в руках… Но час подходит к концу, брат Миклош удаляется, оставляя нас хлопающими глазами, оцепеневшими от внезапного смятения. Одних, одних, одних… До завтра.

С урока истории мы идем на обед. Яйца, рубленый перец, пиво, темные толстые ломти хлеба. После обеда час индивидуальной медитации. Каждый из нас занимается этим в своей комнате, усиленно пытаясь постичь то, что было запихано в наши мозги. Затем звучит гонг, снова призывающий нас в поля. Жара уже спала, и даже Оливер проявляет некоторую сдержанность. Передвигаемся мы медленно, вычищая курятник, втыкая рассаду, помогаем неутомимым братьям-фермерам, которые проработали почти весь день. Это занимает два часа; здесь все Братство плечом к плечу, за исключением брата Энтони, который остается один в Доме Черепов. (Именно в это время мы и пришли сюда в первый раз.) Наконец нас освобождают от этой каторги. Потные, прокаленные солнцем, мы тащимся в свои комнаты, еще раз совершаем омовение и отдыхаем в одиночестве до ужина.

Затем еще раз едим. Меню традиционное. После ужина помогаем убраться. Ближе к закату мы выходим с братом Энтони и еще с четырь-

мя-пятью братьями, которые присоединяются к нам почти каждый вечер, к невысокому холму с западной стороны от Дома Черепов: здесь мы выполняем обряд поглощения солнечного дыхания. Для этого нужно принять особую, неудобную позу — что-то среднее между позой лотоса и стартовой стойкой спринтера — и смотреть прямо на красный шар опускающегося светила. В тот момент, когда нам начинает казаться, что мы вот-вот прожжем дырки в сетчатке, нужно закрыть глаза и сосредоточиться на спектре цветов, попадающих к нам от солнечного диска. Нас учат забирать этот спектр внутрь тела, пропускать его через веки и распределять через носоглотку по горлу и груди. Предполагается, что в конечном итоге солнечное излучение сосредоточится в груди и будет производить жизнетворное тепло и свет. Когда мы станем настоящими адептами, мы сможем перемещать полученную энергию в любую область организма, особо нуждающуюся в данный момент в подпитке жизненной силой — в почки или, скажем, в гениталии, поджелудочную железу или еще куда-нибудь. Братья, сидящие рядом с нами на вершине холма, именно такими перемещениями, по-видимому, и занимаются. Практическая польза этой процедуры лежит за

пределами моего понимания; с точки зрения науки, я никак не могу разглядеть хоть малейшую ее ценность, но поскольку Эли с самого начала не переставал утверждать, что в жизни гораздо больше всего, чем известно науке, и если технология долгожительства здесь опирается на метафорическую и символическую переориентацию метаболизма, ведущую к эмпирическим изменениям в деятельности организма, тогда, возможно, для нас чрезвычайно важно пить дыхание солнца. Братья не показывают нам свои свидетельства о рождении: все это мероприятие, как было сказано, мы должны принимать на веру.

Когда солнце скрывается, мы направляемся в одно из самых обширных общих помещений, чтобы исполнить последнюю обязанность за день: занятие гимнастикой, которое проводит брат Бернард. В «Книге Черепов» сказано, что сохранение гибкости тела играет существенную роль в продлении жизни. Ничего нового в этом вообще-то нет, но методика Братства по поддержанию гибкости наполнена, конечно, особым мистико-космологическим содержанием. Начинаем мы с дыхательных, упражнений, значение которых брат Бернард объяснил , нам в

своей обычной лаконичной манере: это связано с перераспределением чьих-либо отношений с вселенной явлений, чтобы макрокосмос был внутри, а микрокосмос — снаружи. Так я думаю, но надеюсь получить более отчетливую картину по мере продвижения.

Много эзотерических рассуждений связано и с развитием «внутреннего дыхания», но, очевидно, пока считается, что еще не пришло время нам это постигать. Так или иначе, мы садимся и начинаем энергично дышать, выгоняя из легких все шлаки и вдыхая чистый ночной, пригодный для души воздух. После продолжительного периода вдыхания и выдыхания мы переходим к упражнениям на задержку дыхания, вызываемым головокружением, которые приводят нас в приподнятое состояние, а потом — к необычным манипуляциям с перемещением дыхания, когда мы должны научиться направлять его в различные части организма, что во многом напоминает то, чем мы занимались недавно с солнечным светом. Занятие это довольно тяжелое, но гипервентиляция приводит к определенной эйфории: мы ощущаем легкость в голове, оптимизм и без труда убеждаем себя, что значительно продвинулись по дороге к вечной жизни. Наверное, так

оно и есть, если кислород — это жизнь, а двуокись углерода — смерть.

Когда брат Бернард решает, что мы надышались до состояния благодати, мы начинаем раскачиваться и перекручиваться. Каждый вечер упражнения разные, как если бы он составлял программу из бесконечного множества вариантов, наработанных за тысячу веков. Сесть, скрестив ноги, пятки в пол, хлопнуть в ладоши над головой, быстро коснуться пола локтями пять раз (ох!). Коснуться левой рукой левого колена, правую руку поднять над головой, глубоко вдохнуть десять раз. Повторить то же с правой рукой на правом колене, левая рука вверху. Теперь высоко поднять руки и, зажмурившись, с шумом бить себя по голове, пока перед глазами не засверкают искры. Встать, руки на бедра, сильно наклониться в сторону, пока туловище не согнется под прямым углом, сначала — влево, потом — вправо. Стоять на одной ноге, колено другой ноги прижать к подбородку. Прыгать как сумасшедшие. И так далее, включая многое из того, для чего мы еще не достигли достаточной гибкости — заложить ноги за голову, вывернуть руки, сделать стойку со скрещенными ногами и тому подобное. Мы выкладываемся полностью,

чего никак не хватает, чтобы удовлетворить брата Бернарда: гибкостью своих собственных движений он без слов напоминает нам о великой цели, к которой мы стремимся. Теперь я уже не удивлюсь, если в один прекрасный день узнаю, что для достижения вечной жизни совершенно необходимо овладеть искусством засовывания локтя в рот; если ты не сможешь сделать, то, как ни жестоко, малыш, но придется тебе чахнуть на обочине.

Брат Бернард доводит нас почти до изнеможения.

Сам он проделывает все, чего требует от нас, не пропуская ни единого наклона или изгиба, не выказывая ни малейших признаков напряжения по мере выполнения всех этих трюков. Лучше всех художественная гимнастика идет у Оливера, хуже всех — у Эли, тем не менее Эли занимается со сверхъестественным неуклюжим энтузиазмом, достойным восхищения.

Наконец нас отпускают. Обычно это происходит после примерно полутора часов занятий. Остаток вечера — свободное время, но мы уже не в состоянии воспользоваться свободой: к этому моменту мы готовы упасть в койку и отрубиться, поскольку слишком мало времени остается

до рассвета, когда раздастся бодрый стук брата Франца в мою дверь.

Таков наш дневной распорядок. Что все это значит? Молодеем ли мы здесь? Или стареем? Исполнится ли заманчивое обещание «Книги Черепов» в отношении хоть одного из нас? Имеет ли хоть какой-то смысл то, чем мы занимаемся каждый день? Черепа на стенах не дают мне ответов. Улыбки на лицах братьев непроницаемы. Между собой мы ничего не обсуждаем. Меряя шагами свою аскетичную комнату, я слышу, как палеолитический гонг звенит в моем собственном черепе: бом-бом-бом, жди-жди-жди, все увидишь, все увидишь. А Девятое Таинство нависает над всеми нами подобно обнаженному мечу.

29. ТИМОТИ

В тот день, когда мы выскребали бочки куриного помета при девяностоградусной жаре, я решил, что с меня хватит. Шутка затянулась. Тем более каникулы уже почти закончились; мне захотелось убраться отсюда. То же самое я чувствовал уже в первый день появления здесь, но ради Эли удержался от проявления чувств. Теперь я уже не могу больше всего этого выдерживать. Я решил поговорить с ним перед ужином во время отдыха.

Когда мы вернулись с полей, я быстренько ополоснулся и пошел по коридору к комнате Эли. Он был еще в бассейне; я слышал, как течет вода, как он поет низким монотонным голосом. Наконец он вышел, вытираясь полотенцем. Здешняя жизнь пошла ему на пользу: он выглядел сильнее, чем раньше, более мускулистым. Эли окинул меня ледяным взглядом.

— Зачем ты здесь, Тимоти?

— Просто зашел.

— Сейчас время отдыха. Мы должны оставаться в одиночестве.

— Мы всегда должны оставаться в одиночестве, — сказал я, — кроме тех случаев, когда мы с ними. Больше у нас не будет возможности поговорить друг с другом наедине.

— Это, очевидно, часть ритуала.

— Часть игры, — заметил я, — часть той вонючей игры, в которую они играют с нами. Послушай, Эли, ты мне почти как брат. Никто не может мне указывать, когда я могу поговорить с тобой, а когда нет.

— Мой брат гой, — произнес он. Мимолетная улыбка мелькнула и исчезла. — У нас было много времени для разговоров. Теперь нам велено держаться отдельно друг от друга. Тебе надо уйти, Тимоти, пока братья не застали тебя здесь.

— Что же это такое, черт возьми, тюрьма?

— Это монастырь. В любом монастыре есть свои правила, и мы, придя сюда, подчинились этим правилам. — Он вздохнул. — Уйди, пожалуйста, а, Тимоти?

— Как раз об этих правилах я и хотел поговорить, Эли.

— Не я их придумывал. Я не могу освободить тебя ни от одного из них.

— Дай мне сказать. Видишь ли, пока мы остаемся здесь в качестве Вместилища, часы продол-

жают тикать. Скоро нас хватятся. Наши родные заметят, что от нас давно нет вестей. Кто-нибудь обратит внимание на то, что мы не вернулись в колледж после Пасхи.

— Ну и?..

— Сколько еще нам здесь оставаться, Эли?

— Пока не получим то, что хотим.

— Ты веришь во всю ту чепуху, которую они вам говорят?

— Ты считаешь, все это чепуха, Тимоти?

— Я не увидел и не услышал ничего, что изменило бы мое первоначальное мнение.

— А что ты скажешь насчет братьев? По сколько им, на твой взгляд, лет?

Я пожал плечами.

— Шестьдесят. Семьдесят. Некоторым из них, может быть, и за восемьдесят. Они ведут правильную жизнь, много свежего воздуха и физических упражнений, продуманная диета. Вот они и поддерживают себя в форме.

— Я считаю, что брату Энтони не меньше тысячи лет, — сказал Эли холодным, агрессивным, вызывающим тоном; он как бы призывал меня посмеяться над ним, но я не мог. — Возможно, он еще старше, — продолжал Эли. — То же самое относится к брату Миклошу и брату Францу. Не

думаю, что среди них есть хоть один моложе ста пятидесяти или около того.

— Замечательно.

— Чего ты хочешь, Тимоти? Ты хочешь уйти?

— Я думаю над этим.

— Сам или с нами?

— Лучше с вами. Если понадобится, то а сам.

— Мы с Оливером не уйдем. Да и Нед, я думаю, не согласится.

— Тогда придется рассчитывать только на себя.

— Это угроза? — спросил он.

— Это намек.

— Ты знаешь, что будет с остальными, если ты уйдешь.

— Ты всерьез веришь, что братья исполнят свое обещание? — спросил я.

— Мы поклялись оставаться здесь, — сказал Эли. — Они назвали цену, и мы согласились на нее. Я бы не стал недооценивать их способность выполнить обещанное, если мы дадим повод.

— Бред. Это просто кучка маленьких старичков. Если любой иа них пойдет за мной, я сломаю его пополам. Одной рукой.

— Может, и сломаешь. Может, и нет. Ты хочешь взять на себя вину за нашу смерть, Тимоти?

— Только не надо этой мелодраматической дребедени. Я — вольная птица. Посмотри на ситуацию с точки зрения экзистенциализма, как ты обычно от нас требуешь: мы сами устраиваем свою судьбу. Эли, мы идем собственной дорогой. Почему я должен быть привязан к вам троим?

— Ты добровольно поклялся.

— Я могу взять клятву обратно.

— Ладно, — бросил он. — Бери. Собирайся и уматывай.

Эли лежал голым, раскинувшись на койке, заставив меня смутиться: никогда я еще не видел его таким решительным, таким непреклонным, таким невероятно собранным. Или в парня бес вселился?

— Ну что, Тимоти? Ты же вольная птица. Никто тебя не держит. К вечеру ты будешь в Финиксе.

— Я не слишком тороплюсь. Я хотел поговорить об этом с вами троими и прийти к взаимопониманию, чтобы никто ни на кого не давил, чтобы вы все согласились…

— Мы согласились прийти сюда, — перебил меня Эли, — и согласились попробовать. В дальнейших дискуссиях нет необходимости. Ты можешь сматываться когда пожелаешь, но не забывай, что ты подвергаешь нас определенному

риску.

— Это шантаж.

— Знаю. — Его глаза сверкнули. — Чего ты боишься, Тимоти? Девятого Таинства? Оно тебя страшит? Или тебя беспокоит, что ты вдруг и в самом деле получишь вечную жизнь? Уж не давит ли тебя, парень, экзистенциальный страх? Ты представляешь себя живущим столетие за столетием, прикованным к колесу кармы, не имеющим возможности освободиться? Так что пугает тебя больше, Тимоти: жизнь или смерть?

— Ах ты, педераст.

— Ошибся комнатой, — съязвил Эли. — Выйди по коридору налево и через две двери спроси Неда.

— Я пришел сюда с серьезным делом. Мне не нужны шуточки, угрозы, всякие личные выпады. Я просто хотел узнать, сколько ты, Оливер и Нед собираетесь еще здесь оставаться.

— Мы только что тут появились. Слишком рано говорить об уходе. Теперь ты меня оставишь?

Я вышел. Я ничего не добился, и мы оба это понимали. А Эли еще и кольнул меня в те места, об уязвимости которых я и не подозревал.

За ужином он вел себя так, будто я не говорил ему ни слова.

И что теперь? Сидеть, ждать и думать? Ей-богу, больше я этого не вынесу. Я просто не создан для монастырской жизни — независимо от содержания «Книги Черепов» и всего, что из этого может выйти. Для этого надо таким родиться: самоотречение и налет мазохизма должны содержаться в генах. Я обязан заставить понять это Эли и Оливера. Два психа, два одержимых бессмертием маньяка. Они останутся здесь на десять, на двадцать лет и будут выдергивать сорняки, ломать себе спины этими упражнениями, смотреть на солнце, пока не ослепнут, есть приправленную перцем кашицу и убеждать себя, что это и есть истинный путь к вечной жизни. Эли, которого я всегда считал странноватым и нервным, но в основе своей вполне рациональным, по-моему, определенно свихнулся. Взгляд у него стал стеклянным и неистовым, как и у Оливера: ненормальный, страшный взгляд. В Эли происходят и внутренние перемены. Он набирает силу день ото дня, наращивая не столько мышцы, сколько некую моральную силу, страстность, динамизм: его не собьешь с пути, и он дает понять, что не позволит чему бы то ни было встать между ним и тем, чего он хочет. Для Эли это что-то новенькое. Иногда мне кажется, что он превращается

в Оливера — низкорослую, смуглую, волосатую иудейскую копию Оливера.

Оливер, естественно, держит рот на замке и пашет за шестерых, а во время упражнений изгибается кренделем, пытаясь переплюнуть самого брата Бернарда. Даже Нед начинает проникаться верой. Больше от него не слышно шуточек, саркастических замечаний. По утрам мы сидим, слушая, как брат Миклош разматывает клубки запутанной старческой болтовни, произнося, наверное, одно осмысленное предложение из шести, а Нед, как ребенок, которому рассказывают про Сайта-Клауса, в волнении кривит физиономию, покрывается потом, грызет ногти, кивает, все заглатывает. Давай дальше, брат Миклош! Атланты — да, кроманьонцы — ну конечно, ацтеки и все прочие — верю, я верю! А потом мы обедаем, в одиночестве медитируем на холодном каменном полу в своих комнатах, выходим и вкалываем на этих долбаных полях. Хватит. Долго я не выдержу. Сегодня я упустил свой шанс, но через денек-другой снова зайду к Эли и посмотрю, можно ли еще призвать его к благоразумию. Хотя не слишком на это надеюсь.

Сейчас Эли уже немного меня пугает. Я очень сожалею о том, что он мне сказал насчет моего

страха то ли перед Девятым Таинством, то ли перед вечной жизнью. Очень я хотел бы, чтобы он этого не говорил.

30. ОЛИВЕР

Во время работы в поле до завтрака со мной произошел небольшой инцидент. Проходя между двух рядков перца, я наступил босой левой ногой на острую пластинку камня, торчавшую на поверхности. Почувствовав, как камень начинает прорезать кожу на подошве, я быстро переместил центр тяжести, слишком быстро. Другая нога не была готова принять на себя всю тяжесть. Правая лодыжка стала подгибаться. Мне оставалось только падать вроде того, как учат на баскетболе, когда тебя круто подрезают и нужно мгновенно сделать выбор между падением и разрывом связок. И вот я хлопнулся прямо на задницу. Совершенно не пострадал, но этот участок поля ночью был сильно полит, и грязь еще не высохла, поэтому я приземлился в вязкое, мокрое место, и когда поднимался, услышал чавкающий, хлюпающий звук. Мои шорты имели ужасный вид: совершенно грязные и мокрые сзади. В общем-то ничего особенного, но все же не очень приятно ощущать прикосновение к коже грязи, пропитавшей ткань. Ко мне семенящей походкой

подошел брат Франц, узнать не случилось ли со мной чего, и я показал ему, что все в порядке, если не считать шорт. Я спросил, нельзя ли вернуться в дом и переодеться, но он ухмыльнулся, покачал головой и сказал, что в этом нет необходимости, — я могу снять шорты, повесить их на дерево, а солнце высушит их за полчаса. Ладно, почему бы и нет? Меня не очень-то смущала мысль, чтобы походить немного голышом, а где еще найдешь более уединенное место, чем здесь, посреди пустыни? Так я вылез из шорт, развесил их на ветке и, отряхнувшись от грязи, снова принялся за сорняки.

Прошло всего минут двадцать как рассвело, но солнце поднималось быстро и припекало все сильнее. Температура, которая по ночам опускалась градусов до сорока-пятидесяти, сейчас быстро миновала семидесятиградусную отметку и поползла еще выше. Я почувствовал тепло на обнаженной коже, с меня потоками полился пот, стекая по спине, ягодицам, ногам, и я сказал себе, что так и должно быть, когда мужчина выходит в поле жарким днем, что очень хорошо работать обнаженным под палящим солнцем, что нет никакого смысла носить на бедрах грубую грязную тряпку, когда можно все с себя снять. Чем боль-

ше я об атом думал, тем более бессмысленным мне казалось вообще носить одежду: поскольку погода теплая, а вид твоего тела не оскорбляет взора окружающих, чего ради прикрываться? Нет, конечно, вид многих людей не радует глаз; им лучше, когда они одеты, как мне кажется, или, по крайней мере, мы должны одеваться, если они это делают. Но я был рад вылезти из своих грязных шорт. Что тут такого, когда кругом одни мужики.

И пока я проходил рядок перца, обливаясь потом, собственная нагота навела меня на мысли о тех временах, много лет назад, когда я впервые открыл свое тело и тела других. Наверное, это жара стала катализатором моей памяти, и в голове у меня начали произвольно перемещаться образы, туманное бесформенное облачко воспоминаний. Вдоль ручья в один из палящих июльских дней, когда мне было — сколько мне было? — одиннадцать, да, одиннадцать, как раз в тот год, когда умер отец. Я был с Джимом и Карлом, своими друзьями, единственными по-настоящему близкими друзьями. Карлу уже исполнилось двенадцать лет, Джиму — столько же, сколько и мне, и мы искали собаку Карла, дворнягу, убежавшую в то утро. Мы шли по следу собаки вверх по ручью, как

Тарзан, выслеживающий добычу, обнаруживая то пару какашек, то мокрое пятно у ствола дерева, пока не прошли милю, две мили неизвестно куда. Солнце припекало, одежда у нас пропиталась потом, собаку мы вообще не нашли, а вышли к заводи ручья за фермой Мэдденов, где было достаточно глубоко, чтобы купаться. Карл сказал: «Давайте окунемся». «Но мы не взяли плавок», — возразил я, а они стали надо мной смеяться и раздеваться. Конечно, мне приходилось бывать голым перед отцом и братьями, я даже время от времени плавал голым, но я был еще таким благовоспитанным, таким примерным, что фраза насчет плавок вырвалась сама собой. Однако я разделся.

Оставив одежду на берегу, мы пошли по шатким плоским камням к самой глубокой части потока; первым Карл, потом Джим, а за ними и я. Мы прыгнули в воду, поплескались минут двадцать, а затем вышли и сели на берегу, чтобы просохнуть, поскольку полотенец у нас не было. Для меня это ощущение было в новинку: сидеть голым среди голых людей, когда вода не скрывает тела. И мы смотрели друг на друга. Карл, который был на год старше нас с Джимом, уже начал развиваться, яйца у него были побольше,

и темные волосы уже проглядывали — у меня тоже имелось немного волос, но, поскольку я был светлым, их не было видно — а он гордился тем, что имел, и лежал вверх животом, выставив на обозрение свое хозяйство. Я поймал его взгляд, направленный на меня, и попытался представить, о чем он думает. Может быть, критически разглядывает мой конец, потому что он такой маленький, в то время как у него самого вполне мужской член? Но, как бы там ни было, хорошо лежать на солнце, прогревающем теплом кожу, подсушивающем ее, покрывая загаром бледный пах. А потом вдруг Джим взвизгнул, с хлопком сомкнул колени и прикрылся рукой. Я оглянулся и увидел Сисси Мэдден, которой, как я думаю, было тогда лет шестнадцать-семнадцать. Она выехала прогулять лошадь. Ее вид запечатлелся у меня в мозгу: пухлая девушка-подросток с длинными рыжими волосами, с большими веснушками, в тесных коричневых шортах, в белой рубашке, из-под которой практически вылезали ее объемистые груди. Она сидела на чалой кобыле с провисшей спиной, смотрела сверху на нас троих и смеялась.

Мы вскочили на ноги — Карл, я, Джим, один, другой, третий — и помчались как дикари, зиг-

загами, все в разные стороны, отчаянно пытаясь спрятаться в такое место, где Сисси Мэдден не видела бы нашу наготу. Я вспоминаю эту острую потребность, необходимость укрыться от ее взгляда. Но прятаться было почти негде. Единственные деревья находились позади нас, ниже той заводи, где мы плавали, но Сисси именно там и была. А впереди росли лишь низкие кусты и высокая трава, но недостаточно высокая. Мы ничего не соображали. Я пробежал сто, двести ярдов, поранил себе ноги, мчался изо всех сил, а моя маленькая писька хлопалась о бедра — я никогда еще не бегал голым, и теперь начал понимать, насколько это неудобно — и наконец бросился лицом в траву, свернувшись клубочком, спрятавшись, как устрица. Стыдно было невыносимо. В такой скрюченной позе я оставался минут пятнадцать, пока не услышал голоса и не понял, что Карл с Джимом меня ищут. Я осторожно поднялся на ноги. Они уже оделись, а Сисси не было видно. Мне пришлось возвращаться голым обратно к ручью за своей одеждой — казалось, я прошел несколько миль, и мне было стыдно даже рядом с ними, уже одетыми, в то время как на мне еще ничего не было. Я повернулся к ним спиной, чтобы одеться. Через четыре дня я

увидел в кинотеатре Сисси Мэдден, болтавшую в фойе с Джо Фолкнером. Она мне ухмыльнулась и подмигнула, а мне захотелось сквозь землю провалиться. Сисси Мэдден видела мою штуку, сказал я себе, и эти пять слов прокручивались у меня в голове миллион раз во время фильма, и я не замечал даже, что происходило на экране.

Но тот стыд, который я ощутил в одиннадцать лет, это смятение из-за полусформировавшегося пениса скоро прошли. Я подрастал, развивался физически, и у меня больше не было причин стыдиться своего тела. Я помню не одно купание голышом, и никогда я больше не волновался насчет плавок. Иногда с нами ходили даже девчонки, целая компания, четыре девчонки и пять парней, и мы деликатно разоблачались за разными деревьями, девчонки там, ребята здесь, но потом все одновременно бешено мчались к ручью, тряслись и болтались наши принадлежности и их сиськи. А в воде, когда все прыгали вокруг, очень хорошо было видно. Лет в тринадцать-четырнадцать, мы иногда уже спаривались в первых неуклюжих опытах совокупления. Я вспоминаю, что так и не мог преодолеть своего изумления по поводу того, что девичьи тела выглядят так, как они выглядят, что у них пусто в нижней части живота, что там

ничего нет. И бедра у них шире наших, и ягодицы больше и мягче, как округлые розовые подушки. И сколько бы я ни купался голышом, уже став подростком, я всегда вспоминал, как купался с Карлом и Джимом, а Сисси Мэдден смеялась над моей дурацкой стыдливостью. Особенно в тот раз, когда с нами пошла Билли Мэдден: она была нашего возраста, но очень напоминала свою старшую сестру. Стоя голым рядом с Билли на краю ручья, глядя на веснушки, спускающиеся во впадину между ее полными грудями, на глубокие ямочки на ее обширном заду, я каким-то образом ощутил, что весь стыд той встречи с Сисси теперь отменяется, что сама нагота Билли сравняла счет между мной и девчонками Мэдденов, что все это уже не имеет никакого значения.

Думая обо всем этом, дергая сорняки на грядке с перцем, в то время как мою голую задницу пригревало восходящее солнце, я обратил внимание и на то, что в глубоких закоулках моей памяти ворочаются другие воспоминания, события давних времен, темные и неприятные, полузабытые, о которых не хотелось вспоминать. Целый клубок воспоминаний. О том, как я был голым в другие дни, с другими людьми. Мальчишеские игры, часть из которых вовсе не были невинными.

Непрошеные образы ревущим потоком весеннего половодья нахлынули из моего прошлого. Я застыл на месте, меня обдавали волны страха, мышцы напрягались, тело лоснилось от пота. И нечто постыдное произошло со мной. Я ощутил знакомую пульсацию внизу, почувствовал, как он начинает твердеть и подниматься. Я взглянул туда: да, да, так и есть, встает. Я чуть не умер. Мне хотелось броситься лицом на землю. Это было, как в тот раз, когда Сисси Мэдден увидела нас во время купания, когда мне пришлось голым возвращаться к ручью, с уже одетым Карлом и Джимом и впервые ощутил по-настоящему, каково быть голым и охваченным стыдом среди тех, кто в одежде. И снова это повторяется: Нед, Эли, Тимоти, все братья в шортах, а на мне ничего, но мне было все равно, пока вдруг это не началось, и я не почувствовал себя выставленным на всеобщее обозрение, как по телевидению. Они все будут смотреть на меня, увидят, что я возбудился, будут гадать, что привело меня в это состояние, какие грязные мысли бродят в моей голове.

Куда мне спрятаться? Как прикрыться? Видит ли меня кто-нибудь из них?

Похоже, никто пока не видит. Эли и братья далеко вдоль ряда. Лениво двигающийся Тимоти

остался позади. Близко только Нед, футах в пятнадцати за мной. Поскольку я стою к нему спиной, мой срам скрыт от него. Я уже чувствовал, что у меня начинает опускаться: еще немного, и я вернусь в нормальное состояние и смогу как ни в чем не бывало пройти вдоль рядка к тому дереву, где висели шорты. Да. Опустился. Все в порядке. Я повернулся.

Нед, застигнутый врасплох, дернулся, чуть не подскочил, когда я встретился с ним взглядом. Лицо его стало малиновым. Он отвел глаза. И я понял. Мне не надо было смотреть на выпуклость на его шортах, чтобы догадаться, о чем он думал. Минут на пятнадцать или двадцать он отдался полету фантазии, разглядывая мое тело, созерцая мои ягодицы, время от времени выхватывая взглядом и другие прелести. Лелея свои игривые гомосексуальные грезы насчет меня. Что ж, в этом нет ничего неожиданного. Ведь Нед и есть голубой. Нед всегда желал меня, хоть ни разу не посмел забросить удочку. А я выставился перед ним, весь полностью, вводя его в искушение, провоцируя. И все же я был ошеломлен этим выражением неприкрытого вожделения, так недвусмысленно отразившемся на его лице: это потрясло меня. Быть столь желанным для другого

мужчины. Быть объектом его томления. И он казался таким оглушенным, обескураженным, когда я прошел мимо него, чтобы забрать свои шорты. Будто его поймали за руку, выявив его подлинные намерения. А какие, скажи ради всего святого, намерения выявив я? Мои намерения торчали передо мной на шесть дюймов. Мы угодили здесь во что-то очень глубокое, мерзкое и сложное. Это страшит, меня. Уж не голубые ли позывы Неда проникли в мою голову за счет какой-то телепатии и подняли со дна, памяти ощущения застарелого стыда? Ведь странно, что я возбудился именно в этот момент. Господи Иисусе. Я-то думал, что понимаю себя. Но продолжаю обнаруживать, что ни хрена наверняка не знаю. Даже кто я такой. Какой именно личностью хотел бы стать. Экзистенциальная дилемма, верно, Эли, верно? Выбрать свою собственную судьбу. Мы выражаем свою индивидуальность посредством нашего сексуального Я, правильно? Не думаю. Я не хочу так думать. И все же я не уверен. Солнце припекает спину. Несколько минут у меня был такой стояк, что теперь больно. А Нед тяжело дышит у меня за спиной. И прошлое продолжает во мне свой круговорот. Где сейчас Сисси Мэдден? Где Джим? А Карл? Где Оливер? Где Оливер? О

Господи, Оливер, по-моему, очень-очень больной мальчик.

31. ЭЛИ

Медитация, по моему убеждению, — стержень всей процедуры. Способность обратиться внутрь себя. Тебе совершенно необходимо делать это, если ты хочешь хоть чего-нибудь добиться. Остальное — упражнения, диета, омовения, полевые работы — все просто набор методов для достижения самодисциплины, для доведения норовистого его до уровня контроля, от которого зависит реальное долгожительство. Конечно, если хочешь прожить долго, то тебе помогут многочисленные упражнения, поддержание тела в форме, отказ от нездоровой пищи и т. д. и т. п. Но я считаю ошибкой уделять слишком много внимания этим аспектам повседневной жизни Братства. Гигиена и упражнения могли бы посодействовать увеличению средней продолжительности жизни лет до восьмидесяти — восьмидесяти пяти, но если ты хочешь прожить восемьсот или восемьсот пятьдесят, требуется нечто более необыкновенное. (Или восемь тысяч пятьсот? Восемьдесят пять тысяч?) Требуется полный контроль над функциями ор-

ганизма. И ключ к этому — медитация.

На данном этапе они делают упор на развитие внутренней готовности. Нужно, например, смотреть на заходящее солнце и переводить его тепло и силу в различные части организма — сначала в сердце, потом а детородные органы, в легкие, в селезенку и тому подобное. Я утверждаю, что их интересует не солнечное излучение — это просто метафора, символ — во, скорее всего, стремление сделать так, чтобы мы научились входить в контакт со своим сердцем, детородными органами, селезенкой, чтобы в случае каких-то осложнений в этих органах мы могли бы направить к ним свои душевные силы и сделать все необходимое. И эта возня с черепами, с которыми связана большая часть медитации — уверен еще одна метафора, предназначенная для того, чтобы обеспечить нас подходящим центром концентрации. Так, чтобы мы могли запечатлеть образ черепа и воспользоваться им в качестве опоры для прыжка внутрь себя. Любой другой символ сработал бы, наверное, не хуже: подсолнечник, гроздь желудей, клевер с четырьмя листьями. Стоит только создать подходящее психическое обрамление, и сгодится все что угодно. Просто так получилось, что Братство остановилось на символике черепа.

Это не так уж и плохо, если разобраться: в черепе есть некая тайна, романтика, какое-то чудо. И вот мы сидим и смотрим на маленький нефритовый медальон-череп брата Энтони, и нам сказано совершать разнообразные метафорические погружения, связанные с отношением смерти к жизни, но на самом деле от нас хотят, чтобы мы научились сосредотачивать всю нашу душевную энергию на единственном объекте. Овладев сосредоточением, мы сможем применять этот вновь приобретенный навык в целях вечного самовосстановления. Вот и весь секрет. Снадобья для продления жизни, здоровая пища, культ солнечного света, молитва и тому подобное — вещи второстепенные; медитация — все. На мой взгляд, это напоминает разновидность йоги, хотя, если Братство имеет столь древнее происхождение, как на то намекает брат Миклош, тогда, пожалуй, точнее будет сказать, что йога является одним из ответвлений культа Дома Черепов.

Нам предстоит долгий путь. Пока проходят предварительные этапы серии подготовительной процедуры, которую братья называют Испытанием. Впереди, как я подозреваю, нас ждет нечто, в значительной степени психологическое или даже психоаналитическое: очищение души от

избыточного багажа. Часть этого — неприятное дело Девятого Таинства. До сих пор не знаю, как толковать данное место в «Книге Черепов»: буквально или в переносном, метафорическом смысле. Но я уверен, что в любом случае это связано с изгнанием дурных чувств из Вместилища: мы убиваем одного из козлов отпущения, убиваем по-настоящему или еще как-то, а другой козел отпущения самоустраняется, на самом деле или как-нибудь иначе. Общий же результат таков, что в итоге остаются два новоиспеченных брата, лишенные того трепета перед смертью, который несла в себе дефективная пара.

Кроме очищения группы в целом, мы должны очиститься внутри себя. Вчера вечером после ужина ко мне зашел брат Ксавьер, и я предполагаю, что заходил он и ко всем остальным; он сказал мне, чтобы я приготовился к обряду исповеди. Брат попросил вспомнить всю жизнь, обратив особое внимание на случаи, связанные с виной и стыдом, и быть готовым детально обсудить эти эпизоды, если от меня того потребуют. Как я догадываюсь, вскоре будет организовано что-то вроде группового обсуждения с братом Ксавьером во главе. Внушительный вид у этого человека. Серые глаза, тонкие губы, точеное ли-

цо. Подступиться к нему, что к гранитной глыбе. Когда он проходит по коридорам, мне представляются звуки мрачной надрывной музыки. Идет Великий Инквизитор! Да. Брат Ксавьер — Великий Инквизитор. Ночь и холод, туман и боль. Когда начнется эта Инквизиция? Что я скажу? Какие из своих прегрешений я возложу на алтарь?

Я прихожу к заключению, что цель этого освобождения от бремени — упрощение наших душ через передачу — а как еще сказать? — неврозов, грехов, душевных преград, раздражителей, энграмм, отложений дурной кармы? Мы должны урезать себя, сократить. Кости и плоть мы сохраним, но дух должен быть обструган. Мы должны стремиться к некоему успокоению, в котором не будет места для конфликтов, не будет причин для стрессов. Избегать всего, что идет вопреки воле, и, если необходимо, изменить направление воли. Действие без усилий — вот в чем суть. Растрата энергии не позволяется: борьба укорачивает жизнь. Ладно, посмотрим. Внутри меня много мусора, как и у всех. Психическая клизма, возможно, не такая уж и плохая штука.

Что я скажу тебе, брат Ксавьер?

32. НЕД

Обозри жизнь свою, объявляет таинственный, слегка напоминающий рептилию брат Ксавьер, без стука входящий в мою келью, сопровождаемый легким шуршанием чешуи о камень. Обозри жизнь свою, воскреси в памяти грехи своего прошлого, приготовься к исповеди. «Согласен!» — восклицает развращенный мальчик из хора, Нед. «Согласен, брат Ксавьер!» — фыркает падший папист. Это как раз ему по нраву. Обряд исповеди — нечто, доступное его разумению: это сидит у него в генах, въелось в его кости и яйца, это чрезвычайно естественно для него. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa[28]. В то время как остальные трое — дерганый иудей и пара протестантских бычков — чужаки в будке истины. Нет, я думаю, у протестантов тоже есть обычай исповедоваться, поскольку они в глубине души католики, но они всегда врут своим пастырям. Говорю это со слов матери, которая считает, что мясо англиканцев не годится даже на корм свиньям. «Но, матушка, — сказал тогда я, — ведь

[28] Примечания: 28
Моя вина, моя вина, моя главная вина (лат.),

свиньи не едят мяса». «Если бы и ели, — ответила она, — они не тронули бы ни кусочка англиканина! Они нарушают все заповеди и врут своим священникам». И размашисто осеняет себя крестом. Четыре глухих удара. Ом мани падме хум!

Нед послушный. Нед — хороший маленький гомосек. Брат Ксавьер говорит ему Слово, и Нед с ходу начинает раскручивать свое бездарное прошлое, так что может излить его без остатка при подходящем случае. Каковы были мои грехи? Где я переступил черту? Скажи мне, Недди-малыш, имел ли ты других богов, до Него? Нет, сэр, если честно, то я не могу этого утверждать. Сотворял ли ты себе кумиров? Ну… может, и делал наброски в самых общих чертах, но ведь мы не так уж строго относимся к этой заповеди, сэр? Мы же не какие-нибудь там кровожадные мусульмане, правда, сэр? Благодарю, сэр. Дальше: употреблял ли ты имя Господа всуе? Боже упаси, брат Ксавьер, неужели я на это способен? Очень хорошо, Нед, а помнишь ли ты о воскресном дне и посвящаешь ли его Богу? К стыду своему, честный юноша отвечает, что иногда не чтил воскресенья. Иногда? Черт возьми, да он осквернил больше воскресных дней, чем какой-нибудь турок! Впрочем, грех этот

простителен, он незначителен. Ego absolve te[29], сын мой. А чтил ли ты отца своего и мать свою? Да, сэр, я чтил их на свой манер. Убивал ли ты? Я не убивал. Виновен ли ты в грехе прелюбодеяния? Насколько мне известно, отец, невиновен. Крал ли ты? Нет, сэр, не крал, во всяком случае, ничего особенного. Не приносил я и ложного свидетельства против ближнего своего. А не желал ли ты дом ближнего своего, жену ближнего своего, слугу ближнего своего или его рабыню, его быка или его задницу или еще что-нибудь из того, что есть у ближнего твоего? Как вам сказать, сар, я допускаю, что насчет задницы ближнего моего положение у меня шаткое, но в остальном… но в остальном я стараюсь, как могу, сар, помнить, что грешным пришел в этот мир, не забывать все, что против нас всех с самого начала, держать в уме, что с грехопадением Адама согрешили все мы, но я все-таки считаю себя сравнительно чистым и добрым. До совершенства далеко, конечно. Погоди, сын мой, в чем же ты все-таки собираешься исповедоваться? В общем, святой отец — confiteor, con fit ear[30], кулак ударяется о

---

[29] Примечания: 29
Отпускаю тебе грехи (лат.).

[30] Примечания: 30
исповедуюсь, исповедуюсь (лат.).

грудь юноши с достойным восхищения рвением, бум-бум-бум-бум. Ом! Мани! Падме! Хум! — моя вина, мой наиболее прискорбный поступок… Так вот, однажды в воскресенье после мессы я пошел с Сэнди Долевом подглядывать, как его сестра переодевается, и я увидел ее обнаженные груди, святой отец. Они были такие маленькие, округлые, с небольшими розовыми сосками, а в нижней части живота у нее был такой волосатый черный холмик, нечто, чего я раньше никогда не видел, а потом она повернулась спиной к окну, и я разглядел ее задок, святой отец, две самые хорошенькие пухленькие беленькие пышечки, какие я только мог представить, с двумя такими хорошенькими ямочками сверху, а посередине проходила такая восхитительная затененная расщелина, которая… что вы сказали, святой отец? Я могу переходить к чему-то другому? Ладно, тогда признаюсь, что и в других отношениях сбивал Сэнди с пути истинного, что я погряз с ним в грехах телесных, грехах, противных Богу и природе, что в возрасте одиннадцати лет, когда мы с ним спали в одной кровати, поскольку его мать была на сносях и некому было присмотреть за ним, я достал из-под своей подушки пузырек вазелина, взял оттуда добрую дозу и самым распутным

образом нанес смазку на его половой орган, приговаривая, чтобы он не боялся, что Бог не увидит нас в темноте да еще под одеялами, а потом я… а потом он… а потом мы… а потом мы…

Итак, по велению брата Ксавьера я ковырялся в своем развратном прошлом и выкопал оттуда немало смердящего мусора, с тем чтобы лучшие образчики продемонстрировать на исповедальных сеансах, которые, как я предполагал, последуют. Но братья мыслят не настолько прямолинейно. В нашу повседневную рутину должны были внести некоторое разнообразие, хотя к этому не имел отношения ни брат Ксавьер, ни какие-либо исповедальные аспекты. Вероятно, это переносится на более отдаленный срок. Новый обряд связан с сексом, причем — Будда помилуй! — с обоеполым! Эти братья, насколько я теперь понимаю, представляют собой каких-то китайцев под обманчиво европейской внешностью, поскольку они обучают нас в данный момент ничему иному, как *дао* любви.

Они это так не называют. Не говорят они, впрочем, и об *инь* и *янь* . Но я знаком с восточной эротикой и знаю древнее духовное значение тех сексуальных упражнений, тесно связанных с занятиями по развитию тела и духа, которыми

мы уже занимались. Полный контроль, владение всеми функциями организма — вот в чем цель всего этого.

Темноволосые женщины в коротких белых одеяниях, что нам попадались в Доме Черепов, являются жрицами любви, священными шлюхами, которые обслуживают братьев и, выполняя роль вместилищ для Вместилищ, теперь посвящают нас в заветные вагинальные таинства. Время, ранее используемое для отдыха после дневных занятий, теперь стало часом трансцендентальной случки. Никто нас не предупреждал. В тот день, когда это началось, я вернулся с поля, омылся и растянулся на койке, как вдруг в обычной для этих мест манере, без стука, дверь моя распахнулась и вошел Леон, брат-лекарь, в сопровождении трех девиц в белом. Я был голым, но не счел обязанным скрывать свои интимные места от тех, кто явился без приглашения, и вскоре мне дали понять, что вообще нет никакого смысла прикрываться.

Женщины выстроились вдоль стены. Я впервые имел возможность разглядеть их поближе. Они могли показаться сестрами: все небольшого роста, стройные, прекрасно сложены, со смуглой кожей, крупными носами, большими влажны-

ми темными глазами, полны» ми губами. Они чем-то напоминали мне девушек с росписей минойской эпохи, хотя могли быть и американскими индианками: в любом случае вид они определенно имели экзотический. Волосы цвета воронова крыла, тяжелые груди. Возраст — где-то между двадцатью я сорока. Они стояли подобно статуям.

Брат Леон произнес краткую речь. Он сообщил, что для кандидатов очень важно изучить искусство владения сексуальными порывами. Излить семя — значит немного умереть. Все точно, брат Леон! Давно известное выражение: кончить — умереть. «Мы не должны, — продолжал он, — подавлять позыв к сексу, но зато мы должны поставить его под контроль и обернуть его себе на пользу». Следовательно, сношение . похвально, но семяизвержение должно осудить. Я пытался припомнить, где мне все это уже попадалось, и, наконец, вспомнил: да это же даосизм в чистом виде. Соединение инь и янь, влагалища и члена гармонично и необходимо для благополучия Вселенной, но расточение *чинг* , семени, ведет к саморазрушению. Необходимо стремиться к сохранению *чинг* , к повышению его запасов и так далее. Как ни странно, брат Леон, ты не похож

на китайца! Кто у кого, хотелось бы знать, заимствует теории? Или даосы и Братство независимо друг от друга пришли к одному и тому же?

Брат Леон закончил небольшое вступительное слово и что-то сказал девушкам на языке, которого я не понял. (После я говорил об этом с Эли, но он тоже не смог точно определить язык. Он лишь предположил, что это ацтекский или майя.) Короткие белые одежды тут же оказались сброшенными, и передо мной предстали в чем мать родила три представительницы *инь* , готовые к услугам. Каким бы паршивым гомосеком я ни был, я все же оказался способен оценить их в эстетическом плане. Девицы были потрясающие: тяжелые, лишь слегка обвисшие груди, плоские животы, твердые ягодицы, широкие бедра. Никаких шрамов от аппендицита, ни малейших следов беременности. Брат Леон подал неразборчивую отрывистую команду, и ближайшая от двери жрица сразу же улеглась на холодный каменный пол, слегка согнув и раздвинув колени. Повернувшись теперь ко мне, брат Леон позволил себе слегка улыбнуться и сделал жест кончиками пальцев. Казалось, он говорит: «Вперед, парень, действуй».

Ангелочек Нед пребывает в замешательстве.

Он хватает ртом воздух, пытаясь найти какие-то слова. Что теперь? Ты не понимаешь, брат Леон, горькую истину того, что я отношусь к тем, кого называют гомосексуалистом, однополым, голубым, гомосеком, инвертом, извращенцем, содомитом: я должен открыть, что склонен к сексу с обратной стороны. Но я ничего этого не сказал, а брат Леон повторил свой жест, уже не так дружелюбно. Какого черта, в конце концов, ведь на самом деле я всегда был бисексуалом с гомосексуальными наклонностями и при случае собирался занять место священника. Поскольку, по всей видимости, от этого зависит жизнь вечная, и не нужно пройти испытание. И я направился к раздвинутым бедрам.

С напускным рвением я всадил свой меч в ожидавшую того девицу. Что дальше? Сохрани свой чинг, сказал я себе, сохрани свой чинг. Я двигался медленными степенными толчками, в то время как брат Леон инструктировал меня с флангов, подсказывая, что ритмы Вселенной требуют доведения моей партнерши до оргазма, а мне следует приложить все усилия, чтобы до этого не дойти. Очень хорошо. Восхищаясь с каждым дюймом исполнением собственной партии с каждым дюймом, я вызвал у своей духовной на-

ложницы должные судороги и стоны, оставаясь в отдалении, отстраненным, полностью отключившись от шалостей своего инструмента. Когда миновал священный миг, моя удовлетворенная партнерша выселила меня ловким, искусным движением таза, и я обнаружил, что жрица под вторым номером укладывается на пол, принимая положение для приема. Замечательно, жеребец-производитель к вашим услугам. Туда. Сюда. Туда. Сюда. Вздох. Стон. Вой. С безошибочностью хирурга я хладнокровно довел ее до экстаза, сопровождаемый одобрительным комментарием брата Леона откуда-то из-за моего левого плеча. Снова движение тазом в смена партнерши: еще одна темная зияющая йони дожидается моего блестящего, негнущегося жезла. Господи, помоги! Я начинаю ощущать себя, как тот раввин, которому врач сказал, что он помрет, если не будет съедать по фунту свинины в день. Но старый бесшабашный Нед довел дело до конца. Брат Леон сказал, что на этот раз я могу позволить себе кончить. К атому моменту меня уже начинали угнетать ограничения, и возможность ослабить железный самоконтроль принесла мне некоторое облегчение.

Таким образом, наше испытание входит в но-

вую, более сложную фазу. Жрицы навещают нас каждый вечер. Предполагаю, что для жеребцов вроде Тимоти в Оливера это — неожиданный подарок судьбы, ничем не омрачаемое удовольствие, хотя и не обязательно: то, что предлагается выполнять здесь, не так просто, как доброе поревo от души, доставляющее им радость! Скорее, это напряженное, требующее полной отдачи упражнение в высочайшем самоконтроле, который, возможно, полностью лишает их всякого удовольствия от этого занятия. Но это их проблемы. Моя в другом. Бедный старина Нед, на его долю за эту неделю выпало больше гетеросексуального секса, чем за последние пять лет. Впрочем, надо отдать ему должное: он делает все, что просят, и ни разу не пожаловался. Хотя это — постоянная борьба. Матерь Божья, в самых кошмарных видениях после дозы я и представить себе не мог, что путь к бессмертию для меня пролегает через такое количество женских тел!

33. ЭЛИ

Прошлой ночью в темноте мне в голову впервые пришла мысль о том, что мне следует предложить себя для выполнения пункта о самоубийстве из Девятого Таинства. Мимолетное отчаяние мелькнуло и исчезло, во стоит над этим поразмыслить при ярком свете. Меня явно терзает вся эта история с сексом. И полная неудача в попытках освоить предложенную технику. Провал аа провалом, как я могу удержать себя? Мне предоставляют красивых женщин, говорят, чтобы я овладел двумя или тремя из них подряд — ах ты, *шменд рик, шмендрик, шмендрик!* Полностью повторяется та история с Марго. Я воспламеняюсь, меня охватывает страсть, то есть происходит обратное тому, что должно быть. Ни разу не удалось мне обуздать себя настолько, чтобы справиться со всеми тремя. Кажется, это вообще выше человеческих сил, во всяком случае для меня. Хотя и то долгожительство, о котором мы здесь говорим, тоже превышает человеческие возможности. Необходимо преодолеть в себе человеческое, стать в буквальном смысле

нечеловеком, нелюдью, если хочешь победить смерть. Но если я неспособен управлять даже предательским поведением своего члена, как я могу надеяться контролировать метаболизм, мысленными усилиями преобразовывать органическое разложение, добиться какого-то овладения процессами организма на клеточном уровне, то есть освоить то, что должны уметь здешние братья? Я не могу. Я вижу надвигающееся крушение надежд. Брат Леон и брат Бернард сказали, что обеспечат меня специальной подготовкой, покажут некоторые полезные приемы снижения возбуждения, но я не очень-то в это верю. Проблема имеет слишком глубокие корни в самой сущности Эли, слишком поздно что-то менять, а я останусь тем, кто есть. Я взгромождаюсь на этих податливых ацтекских жриц, и хоть в голове у меня так и крутятся мысли насчет удержания семени, мое тело пускается вскачь, и я взрываюсь от страсти, а страсть — именно то, что должно быть обуздано, если кто-то собирается пережить Испытание. Неудача здесь означает крах всего; я остаюсь на обочине и теряю бессмертие; поэтому мне лучше уничтожить себя самого сейчас, поскольку кто-то должен это сделать и освободить таким образом путь всем остальным.

Так я думал по крайней мере вчера ночью. Думал я и о том, что вторым, кто непременно потерпит неудачу, будет Тимоти, поскольку он не может или не хочет проникнуться должным душевным состоянием; ведь он раб своего презрения и настолько высокомерно относится к Братству в его обрядам, что вряд ли станет сдерживать свое нетерпение. Поэтому он никогда не освоит даже основы тех или иных дисциплин. Мы занимаемся медитацией; он лишь наблюдает. Существует реальная опасность, что через несколько дней он просто уйдет отсюда, и это, конечно, будет крушением всего из-за нарушения равновесия Вместилища. Исходя ив этого, я мысленно предназначаю Тимоти для выполнения второй части Девятого Таинства: он вполне может выиграть то, что предлагает Братство, но пусть лучше проиграет, пусть он будет убит ради остальных.

Прошлой ночью, когда я тоскливо лежал, не смыкая глаз, я подумал, что могу немедленно привести ход событий к желаемой развязке: украсть на кухне нож, прирезать Тимоти во сне, а потом покончить с собой. Таким образом, Девятое Таинство будет выполнено, а Нед и Оливер получат путевки в бессмертие. Я даже сел на койке. Но в кульминационный момент остановился,

чтобы спросить себя: а правильно ли то, что я собираюсь сотворить? Возможно, в процедуре разворачивающегося ритуала для Девятого Таинства существует определенное место, но на более поздней стадии. Возможно, я все испорчу, если сделаю это сейчас по своей инициативе, не дожидаясь знака братьев. Бели преждевременная жертва будет бесполезной, то лучше этого не делать. Поэтому я остался в постели, и порыв прошел. Сегодня утром, хоть состояние у меня и подавленное, я не имею ни малейшего желания расставаться с жизнью. У меня самые мрачные предчувствия насчет своей судьбы, меня приводят в смятение многочисленные проявления собственной вопиющей неполноценности, но я все равно хочу жить как можно дольше. Перспективы достижения долгожительства братьев кажутся совсем призрачными, хотя я не думаю, что кто-нибудь из нас добьется этого. Я думаю, что Вместилище распадается на куски.

34. ОЛИВЕР

В середине дня, когда мы возвращались после занятия с братом Миклошем, в коридоре нас перехватил брат Ксавьер. «Зайдите, пожалуйста, после обеда ко мне, в зал Трех Масок», — сказал он и величаво удалился по своим делам. Есть что-то отталкивающее в этом человеке, что-то леденящее: он единственный из братьев, с кем я предпочел бы не встречаться. Безжизненный взгляд, безжизненный голос. Как бы там ни было, я предположил, что пришло время сеанса исповеди, о котором брат Ксавьер предупреждал нас неделю назад, и не ошибся. Впрочем, все выглядело не так, как я ожидал. Мне казалось, что это будет проходить на манер диспута по группам: Нед, Эли, Тимоти, я и, возможно, двое-трое братьев сядут кружком, а кандидаты будут по очереди вставать и выворачивать душу перед всей честной компанией, после чего мы прокомментируем услышанное, попытаемся растолковать с позиций собственного жизненного опыта и тому подобное. Все было не так. Брат Ксавьер сказал, что мы будем исповедниками друг у друга в серии

бесед с глазу на глаз.

— В течение прошедшей недели, — сообщил он, — вы вспоминали свою жизнь, извлекали на поверхность свои самые темные тайны. У каждого из вас в душе есть по меньшей мере один эпизод, который вы держите под замком и уверены, что никогда не поделитесь им ни с одним человеком. Именно на этом критическом эпизоде, и ни на чем другом, вы должны сосредоточить свою работу.

Он требовал от нас выявить и выделить самое неприятное, самое постыдное происшествие в жизни, а потом открыть его, чтобы очиститься от этого дурного багажа. Брат Ксавьер положил свой медальон на пол и покрутил его, чтобы определить, кто кому будет исповедоваться. Тимоти — мне; я — Эли; Эли — Неду; Нед — Тимоти. Но цепочка замкнулась на нас четверых, без посторонних. В намерения брата Ксавьера не входило сделать наши самые сокровенные страхи всеобщим достоянием. Не предполагалось, что мы расскажем ему или кому-нибудь еще о том, что узнаем друг от друга во время этих исповедей. Каждый из членов Вместилища станет хранителем чьей-то тайны, но, по словам брата Ксавьера, то, в чем мы признаемся, не пойдет дальше испо-

ведника. Речь идет об очищении, освобождении от бремени, а не о выяснении каких-то сведений.

С тем чтобы мы не загрязняли чистую атмосферу Дома Черепов, выпуская на волю слишком много отрицательных эмоций зараз, брат Ксавьер установил, что в день будет проводиться только одна исповедь. И снова вращение медальона определило последовательность. Сегодня, перед сном, Нед пойдет к Тимоти. Завтра Тимоти придет ко мне; на следующий день после этого я нанесу визит Эли; на четвертый день Эли замкнет круг, исповедовавшись перед Недом.

Такой порядок дал мне почти два с половиной дня, чтобы решить, какую историю я буду рассказывать Эли. Нет, конечно, я знал, что именно мне следует рассказать. Это было очевидным. Но пришлось отбросить две или три хиловатых замены и несколько неуклюжих отговорок для сокрытия нужного выбора. Как только какие-то варианты приходили на ум, я их тут же отвергал. У меня оставалась только одна возможность, одна точка, в которой сосредоточились стыд и чувство вины. Я не знал, удастся ли мне выдержать боль рассказывая об этом, но это было именно то, что нужно открыть, и я в глубине души надеялся, что в момент рассказа боль уйдет, хотя и сильно

сомневался. Я говорил себе, что буду волноваться на этот счет, когда подойдет время. А потом я постарался вообще выбросить из головы проблему исповеди. Полагаю, это один из примеров подавления. К вечеру мне удалось полностью забыть о затее брата Ксавьера. Но посреди ночи я проснулся в холодном поту: мне привиделось, будто я во всем признался Эли.

35. ТИМОТИ

Подмигивая и ухмыляясь, пританцовывающей походкой вошел Нед. Он всегда выделывает все эти бабские штучки, когда чувствует себя не в своей тарелке.

— Молю о прощении, святой отец, поскольку грешен, — произнес он нараспев.

Слегка шаркнул ножкой. Он был взволнован, и я понял, что это из-за исповеди. В конце концов в нем снова взыграл старый иезуит. Он хотел открыть душу, а я буду объектом его излияний. Мне вдруг стало тошно при мысли о том, что придется сидеть и выслушивать какую-нибудь грязную историю из его однополой жизни. Какого черта я должен выслушивать его мерзкие откровения? Да и кто я вообще такой, чтобы исповедовать Неда?

— Ты действительно собираешься открыть мне страшную тайну своей жизни? — спросил я.

На его лице отразилось удивление.

— Конечно.

— А ты должен это делать?

— Должен ли я? Тимоти, ведь этого от нас ожидают. Да я и хочу этого. — Да, Нед опреде-

ленно этого хотел. Он весь дрожал, дергался, покраснел. — Ты что, Тимоти, неужели тебя не интересует моя личная жизнь?

— Нет.

— Да ладно тебе. Пусть ничто человеческое не будет тебе чуждо.

— Не хочу. Мне этого не нужно.

— Плохо. Потому что я должен это рассказать. Брат Ксавьер говорит, что освобождение от грехов — необходимое условие для продления моего земного бытия, и поэтому я собираюсь проветриться. Я собираюсь проветриться,

— Если тебе надо, — покорился я судьбе.

— Устраивайся поудобней, Тимоти. Пошире открой уши. Тебе не остается ничего другого, как слушать.

И я выслушал его. Нед в душе эксгибиционист, как и многие ему подобные. Он хочет купаться в саморазоблачении, самообвинении. Рассказывал он свою историю очень профессионально, очерчивая детали, как и должно писателю, на роль которого он претендует, выделяя одно, затушевывая другое. То, что он поведал, примерно соответствовало моим ожиданиям: довольно гнусная фантазия на голубую тему.

— Случилось это, — начал Нед, — еще до того,

как мы с тобой познакомились, осенью на первом курсе, когда мне еще не было восемнадцати. Я снимал квартиру с двумя другими парнями за пределами кампуса.

Как и следовало ожидать, они оба были гомосеками. Собственно говоря, квартира принадлежала им: Нед поселился у них после экзаменов в середине семестра. Парни лет на восемь-десять старше Неда, уже долго жили вместе в некоем подобии однополого брака. Один из них был грубоватым, мужественным, играющим первую скрипку ассистентом профессора по французской литературе. Вдобавок он занимался спортом и увлекался альпинизмом. Второй же представлял собой классический образец пассивного и был хрупким и эфемерным, почти женственным, бестелесным застенчивым поэтом, по большей части остававшимся дома. Он занимался хозяйством, поливал цветы и, как можно предположить, вышивал и вязал.

В общем, эта парочка жила-поживала спокойно и счастливо, пока однажды они не познакомились с Недом в каком-то баре и выяснили, что ему не нравится то место, где он живет. Они пригласили его переселиться к ним. Предполагалось, что речь идет исключительно о жилье: у Неда будет

отдельная комната, он будет вносить свою долю за квартиру и на продукты, и никаких половых отношений ни с кем из соседей иметь не будет, тем более что они хранили верность друг другу. Месяца два это соглашение соблюдалось. Но верность среди голубых, как я полагаю, вряд ли сильнее аналогичного чувства среди гетеросексуалов, и присутствие Неда в доме стало раздражающим фактором, что вполне соответствовало ситуации, когда рядом с обычной семейной парой обитает ладненькая телка годков восемнадцати.

— Вольно или невольно, — продолжал Нед, — я подливал масла в огонь искушения. Я расхаживал по квартире голым, заигрывал с ними, расточал невинные ласки.

Напряжение росло, и произошло неизбежное. Однажды любовники из-за чего-то поссорились — может быть, и из-за Неда, он не знал точно — и «муж» ушел, хлопнув дверью. «Жена», весь в растрепанных чувствах, пришел к Неду за утешением. Нед и утешил «ее» в постели. Потом они терзались угрызениями совести, что не помешало им повторить все несколько дней спустя, а потом уже Нед и этот поэт по имени Джулиан стали заниматься этим регулярно. А тем временем другой, по имени Оливер — любопытно, не

правда ли, еще один Оливер? — по всей видимости, не подозревавший о том, что было между Недом и Джулианом, тоже начал подкатываться к Неду, и вскоре они также разделили ложе. И так в течение нескольких недель Нед крутил с обоими по отдельности.

— Это было забавно, — сказал он, — щекотало нервы: все эти тайные встречи, мелкое вранье, страх, что кто-нибудь из них застукает меня с его сожителем.

Сложности были неизбежны. Оба голубых влюбились в Неда. Каждый из них решил порвать со своим партнером и жить только с Недом. Перетягивание каната. Нед получил предложения от обеих сторон.

— Я не знал, как из этого выпутываться, — вздохнул Нед. — К этому времени Оливер уже догадывался, что у меня что-то с Джулианом, а Джулиан знал про Оливера, хотя до открытых обвинений дело еще не дошло. Если бы пришлось выбирать между ними, то я немного больше склонялся в пользу Джулиана, но не хотел, чтобы последнее слово оставалось за мной.

Себя Нед обрисовал наивным, невинным дитятей, угодившим в треугольник, к появлению которого он не имел никакого отношения.

Беспомощный, неопытный, подвергающийся страстным домогательствам Оливера и Джулиана, и так далее и тому подобное. Но на деле всплывало еще что-то, выражавшееся не в словах, а в ухмылочках, в изгибе бровей и других безмолвных знаках, сопровождавших рассказ. В любой момент Нед мог действовать примерно в шести уровнях, и когда он начинает расписывать, какой он наивный и невинный, ты знаешь, что он тебе врет. За внешней же стороной этой истории я увидел коварного, плетущего интриги Неда, водящего за нос эту злосчастную парочку просто для развлечения, вставая между ними, искушая и соблазняя их по очереди, вынуждая их к соперничеству за его благосклонность.

— Развязка наступила как-то в мае, на уикэнд, — сказал он, — когда Оливер пригласил меня в альпинистский поход в Нью-Гемпшир, оставив Джулиана за бортом. Оливер объяснил, что нам многое нужно обсудить, а чистый горный воздух лучше всего способствует такому разговору.

Нед согласился, что вызвало у Джулиана истерику. «Если ты поедешь, — всхлипывал он, — я убью себя». Неду был неприятен такой эмоциональный шантаж, и он просто сказал, чтобы Джулиан успокоился — ведь речь идет всего

лишь об уик-энде, совсем небольшом сроке, а в воскресенье вечером он вернется. Джулиан продолжал все в том же духе, твердя о самоубийстве. Не обращая на него внимания, Нед и Оливер собирались в поход. «Ты никогда больше не увидишь меня живым», — визжал Джулиан. Рассказывая мне это, Нед презрительно и правдоподобно сымитировал затравленный вопль Джулиана.

— Я опасался, что Джулиан мог угрожать вполне серьезно, — продолжал Нед. — С другой стороны, я знал, что было бы ошибкой подыгрывать таким вспышкам истерики. А еще в глубине души мне было лестно чувствовать себя настолько значительным в чьих-то глазах, что речь зашла даже о самоубийстве.

Оливер сказал, чтобы Нед не волновался насчет Джулиана («Она просто впала в мелодраму») — ив пятницу они отправились в Нью-Гемпшир.

В субботу вечером они оказались на склоне какой-то большой горы на высоте четырех тысяч футов. Оливер выбрал именно этот момент, чтобы взять быка за рога. Давай жить вместе, сказал он, будь моим любимым, и мы испытаем всевозможные удовольствия. Хватит ходить вокруг да около: он требовал немедленного и окончательного решения. Выбирай между мной и

Джулианом, сказал он, причем выбирай быстро.

— К этому времени я решил, что не очень-то высоко ставлю Оливера, поскольку он старался по большей части быть неистовым и напористым, выступая в роли эдакого голубого Хемингуэя, — сообщил Нед. — А что касается Джулиана, то хоть я и находил его привлекательным, он мне казался слишком зависимым и слабым, обвивающим тебя как лоза. Кроме того, кого бы я ни выбрал, я не сомневался, что придется выдержать натиск пострадавшей стороны — с бурными сценами, угрозами, потасовками и всем, что в таких случаях бывает.

Итак, Нед деликатно объяснил, что не желает быть причиной разрыва между Оливером и Джулианом, чьи интересы он уважает превыше всего, и вместо этого он просто съедет от них. Тогда Оливер принялся обвинять Неда в том, что он оказывает предпочтение Джулиану и тайно плетет вместе с ним козни, чтобы выжить его, Оливера. Разговор перешел на высокие тона и утратил всякое разумное содержание, сопровождаясь всевозможными взаимными упреками и опровержениями, и Оливер наконец сказал: «Я не смогу жить без тебя, Нед. Обещай, что предпочтешь меня Джулиану, прямо сейчас пообещай,

или я прыгну в пропасть».

Когда Нед дошел до этого момента, глаза у него вспыхнули странным блеском, каким-то дьявольским огнем. Он явно любовался собой, подпав под чары собственного красноречия. До некоторой степени это касалось и меня.

— Меня уже утомили эти угрозы самоубийства. Тоскливо выслушивать, когда все твои поступки диктуются чьими-то настойчивыми утверждениями. «Так ты что, — сказал я тогда Оливеру, — тоже решил отколоть этот же номер? Ладно, хрен с тобой. Давай, прыгай тогда. Плевать я хотел». Я предполагал, что Оливер блефует, как обычно делают в подобных случаях. Оливер не блефовал. Он мне не ответил, он даже не стал раздумывать, а просто шагнул с уступа. Я видел, как он завис в воздухе, глядя на меня, мне показалось, секунд на десять. Лицо у него было спокойным и умиротворенным. Потом он пролетел две тысячи футов, ударился о выступ, подскочил, как тряпичная кукла, и уже падал до самого дна расщелины. Все произошло так быстро, что я даже не успел ничего сообразить. Угроза, мой раздраженный резкий ответ, прыжок — раз, два, три. Потом стало доходить. Я весь затрясся. Я орал как сумасшедший.

По словам Неда, он тогда всерьез подумал о том, чтобы тоже прыгнуть, потом все-таки взял себя в руки и направился вниз по горной тропинке. Без помощи Оливера ему пришлось нелегко. Спуск занял несколько часов, и когда он добрался до места, было уже темно. Нед не имел представления, где искать тело Оливера, поблизости не было ни полицейских, ни телефона, поэтому ему пришлось идти полторы мили до шоссе, а потом на попутках добираться до колледжа. (Поскольку тогда он еще не умел водить, ему пришлось бросить машину Оливера.)

— Всю дорогу я был в совершенно паническом состоянии, — рассказывал Нед. — Те, кто меня подвозил, думали, что я болен, а один даже хотел отвезти меня в больницу. В голове крутилась только одна мысль: я виноват, виноват, виноват-виноват-виноват. Я убил Оливера. Я ощущал такую же вину в его смерти, как если бы сам его толкнул.

Как и до этого, слова Неда говорили мне об одном, а выражение его лица — о другом.

— Вину, — громко повторил он, однако каким-то телепатическим чувством я улавливал в его голосе удовлетворение.

— Ответственность за смерть Оливера, — ска-

зал он, а за этими словами слышалось: «волнение из-за того, что кто-то лишил себя жизни из любви ко мне».

— Панику, — произнес он, молча похвастав-шись при этом: ^восхищение таким успехом в управлении людьми».

Он продолжал:

— Я старался убедить себя, что в этом не было моей ошибки, не было никаких причин считать, что Оливер говорил серьезно. Но не это помогало. Оливер был гомосексуалистом, а они — люди неуравновешенные, по определению, верно? Верно. И раз Оливер сказал, что прыгнет, не надо было его подначивать, потому что ему только этого и надо было, чтобы шагнуть вниз.

Словами Нед говорил: «Я был невинен и глуп», но за ними слышалось: «Я был подлым убийцей». Он продолжал:

— Потом я стал думать, что сказать Джулиану. Ведь я вошел в их дом, я заигрывал с обоими, пока не добился, чего хотел, я встал между ними, и вот, в результате, явился причиной смерти Оливера. А Джулиан остается один, и что мне с ним делать? Предложить себя взамен Оливера? Навек взять на себя заботы о бедном Джулиане? О, это было мукой, страшной мукой.

Я добрался до квартиры часа в четыре утра, и рука у меня так дрожала, что я еле вставил ключ в замок. Я приготовил примерно восемь вариантов ответов для Джулиана, всевозможные объяснения, оправдания. Но оказалось, что ни одно из них мне не понадобилось.

— Джулиан сбежал с дворником, — предположил я.

— Джулиан перерезал себе вены сразу же после того, как мы уехали. Я обнаружил его в ванной. Он был мертв уже более суток. Ты понимаешь, Тимоти, что я убил их обоих? Понимаешь? Они любили меня, а я их погубил. И с тех пор я ношу в себе чувство вины.

— Ты ощущаешь себя виновным в том, что не воспринял всерьез их угрозы о самоубийстве?

— Я ощущаю вину оттого, что испытал такую радость, когда они это сделали, — ответил Нед.

36. ОЛИВЕР

Тимоти появился, когда я собрался ложиться спать. Он вошел ссутулившись, угрюмый и мрачный, и какое-то мгновение я не мог понять, зачем он здесь.

— Ладно, — произнес он, присев возле стены. — Давай закончим с этим побыстрее, договорились?

— У тебя сердитый вид.

— А так и есть. Меня влит вся эта куча дерьма, в которую меня заставили вляпаться.

— Не надо срывать злость на мне, — сказал я.

— Разве я срываю?

— Лицо у тебя не очень-то приветливое.

— Какая там к черту приветливость, Оливер. Сразу после завтрака я почувствовал, что отсюда надо делать ноги как можно скорее. Кстати, сколько мы здесь уже торчим? Две недели, три недели? До хрена, сколько бы ни было. До хрена.

— Ты знал, когда соглашался, что это займет какое-то время, — сказал я. — Испытание никак не может пройти быстро — четыре дня и привет. Если ты выйдешь из игры сейчас, ты все нам

испортишь. И не забывай, что мы поклялись…

— Поклялись, поклялись, поклялись! Ах ты. Господи, Оливер, да ты заговорил, как Эли! Ты меня ругаешь, пилишь, напоминаешь, что я в чем-то поклялся. Господи Иисусе, как мне осточертела вся эта паршивая тягомотина! Вы трое держите меня словно в психушке.

— Все же ты злишься на меня. Он пожал плечами.

— Я злюсь на всех и вся. Больше всего, кажется, на себя. За то, что ввязался в это. За то, что не хватило ума сказать с самого начала: на меня можете не рассчитывать. Я решил, что это будет забавно, и поехал за компанию. Забавно! Не тут-то было!

— Ты думаешь, что все это пустая трата времени?

— А ты?

— А я нет, — ответил я. — Я чувствую, как меняюсь с каждым днем. Повышаю контроль над своим телом. Расширяю диапазон восприятия. Настраиваюсь на что-то большое, Тимоти. То же самое происходит с Эли и Недом, и я не вижу никаких причин, мешающих тебе чувствовать себя точно так же.

— Психи. Трое ненормальных.

— Если ты попробуешь поменьше дергаться на

этот счет и по-настоящему займешься медитацией и духовными упражнениями…

— Что я говорил? Опять меня пилишь.

— Извини. Больше не буду, Тимоти. Забудь.

Я глубоко вздохнул. Тимоти был, пожалуй, моим лучшим, если не единственным другом, но мне вдруг стало тошно на него смотреть, смотреть на его крупное мясистое лицо, на его коротко стриженые волосы, стало тошно от его высокомерия, его денег, его предков, его презрения ко всему, находящемуся за пределами его понимания. Я произнес ровным, холодным тоном:

— Послушай, раз тебе здесь не нравится, уходи. Просто уйди. Я не хочу, чтобы ты считал, будто я тебя удерживаю. Ты уйдешь, если этого хочешь. И не волнуйся насчет меня, насчет клятвы и всего прочего. Я сам способен о себе позаботиться.

— Я не знаю, чего я хочу, — пробормотал он, и на мгновение раздраженная мина покинула его лицо. Вместо этого на нем появилось выражение, с которым мне трудно было представить Тимоти: выражение замешательства и беззащитности. Оно тут же исчезло, и он снова хмуро посмотрел на меня.

— И еще одно, — опять раздраженным голосом сказал он. — Какого черта я должен рассказывать

кому-то свои секреты?

— Не должен.

— Но брат Ксавьер сказал, что надо, пик

— А тебе-то что? Не хочешь, не рассказывай.

— Это часть ритуала.

— Но ведь ты не веришь в ритуал. В любом случае, если ты завтра уйдешь отсюда, тебе не надо делать ничего из того, о чем говорил брат Ксавьер.

— Я разве сказал, что ухожу?

— Ты сказал, что хочешь уйти.

— Я сказал, что почувствовал, что надо уходить. Но не говорил, что собираюсь уйти. Это не одно и то же. Я еще не решил.

— Это уж на твое усмотрение: остаться или уходить. Исповедоваться или нет. Но если ты не собираешься делать то, зачем тебя прислал сюда брат Ксавьер, тогда уходи и дай мне немного поспать.

— Не зли меня, Оливер. Не надо на меня давить. Я не могу решить так быстро, как тебе хочется.

— У тебя был целый день, чтобы решить, рассказывать или не рассказывать.

Он кивнул, потом наклонился вперед, пока его голова не оказалась между коленей, и очень долго так сидел и молчал. Раздражение у меня

прошло. Я видел, что он разрывается на части. Такой Тимоти был для меня совершенно непривычен. Он и хотел бы преодолеть внутреннее сопротивление, хотел бы окунуться в ритуалы Дома Черепов, но все же презирал все это настолько, что не мог пересилить себя. И я на него не давил. Посидев так некоторое время, он наконец поднял голову и сказал:

— Какие гарантии ты можешь дать, что не станешь трепаться, если я расскажу то, что должен рассказать?

— Брат Ксавьер велел нам не распространяться насчет услышанного во время этих исповедей.

— Все верно, но ты обещаешь держать язык за зубами?

— Неужели ты мне не доверяешь, Тимоти?

— В этом деле я не доверяю никому. Это способно уничтожить мевя. Брат не ошибался насчет того, что у каждого что-то есть за душой, чего он ни при каких обстоятельствах не хотел бы вытаскивать наружу. Да, я наделал немало пакостей, но это настолько гнусно, настолько чудовищно, что это можно назвать почти священным, сверхъестественным грехом. Меня все станут презирать, если узнают. Даже ты, наверное, станешь меня презирать. — Его лицо посерело от

внутреннего напряжения. — Не знаю, хочу ли я об этом говорить.

— Если не хочешь, не говори.

— Предполагается, что я признаюсь.

— Лишь в том случае, если ты обязуешься выполнять условия «Книги Черепов». А ты не собираешься этого делать.

— А если собираюсь, то должен следовать указаниям брата Ксавьера. Не знаю. Не знаю. Ты точно ничего не расскажешь Эли или Неду? Или еще кому-нибудь?

— Точно не скажу, — сказал я.

— Хотелось бы верить.

— Здесь я ничем не могу тебе помочь. Как говорит Эли, некоторые вещи приходится принимать на веру.

— Может, тогда заключим сделку? — Тимоти покрылся испариной, весь его вид свидетельствовал о полном отчаянии. — Я расскажу тебе свою историю, а ты мне — свою, и тогда мы будем квиты. У каждого из нас будет что-то друг на друга для гарантии от лишних сплетен.

— Мне назначено исповедоваться Эли. Не тебе. Эли.

— Тогда сделки не будет?

— Не будет.

Он снова умолк и на этот раз молчал еще дольше. Потом поднял голову. Его взгляд меня испугал. Тимоти облизнул губы, подвигал челюстью, но не проронил ни слова. Казалось, он на грани срыва, и часть его страха передалась мне; я почувствовал напряжение, беспокойство и нервозность, неуютное ощущение облепляющей пелены липкой жары.

В конце концов Тимоти выдавил несколько слов.

— Ты видел мою младшую сестру, — произнес он.

Да, я действительно видел его сестру несколько раз, когда ездил к нему домой на Рождество. Она была года на два-три моложе брата, длинноногая блондинка, вполне привлекательная, но не слишком яркая: что-то вроде Марго без индивидуальности Марго. Сестра Тимоти была девицей из Уэллсли, типичной дебютанткой Молодежной лиги на благотворительном чаепитии, вызывающей ассоциации с теннисом, гольфом и верховой ездой. Она имела хорошую фигуру, но в остальном вовсе не казалась мне привлекательной, поскольку меня отталкивало ее самодовольство, богатство, ощущение неприступной девственности. Я никогда не считал девственниц особо

интересными. А эта явно производила впечатление того, что она гораздо выше такой грубой, вульгарной штуковины, как секс. Я представил, как она тягучим голосом скажет своему жениху, когда тот полезет к ней под блузку: «Ах, дорогой, разве можно быть таким невоспитанным!» Сомневаюсь, что она обратила на меня больше внимания, чем я на нее: канзасское происхождение поставило на мне клеймо деревенского увальня, мой отец не состоял членом соответствующих клубов, а я был прихожанином не той церкви. Полное отсутствие признаков высшего класса отбрасывало меня в тот многочисленный отряд особей мужского пола, которых такие девицы просто не рассматривают в качестве возможных кавалеров, любовников или мужей. Для нее я был просто предметом обстановки, вроде садовника или мальчишки-конюха.

— Да, — сказал я. — Я помню твою младшую сестру.

Тимоти очень долго изучал меня.

— Когда я был на последнем курсе подготовительной школы, — произнес он голосом, напоминающим о заброшенном склепе, — я изнасиловал ее, Оливер, я ее изнасиловал.

По-моему, делая это признание, он ожидал, что

небеса разверзнутся и на его голову обрушится молния. Наверное, он ожидал, что я как минимум отшатнусь, заслоню глаза ладонью и вскричу, что потрясен этими ужасными словами. Я и впрямь слегка удивился и тому, что Тимоти мучается из-за подобных грязных делишек, и тому, что ему это удалось без немедленных последствий, так как на ее крики должны были сбежаться все домашние и выпороть его как следует. И теперь, узнав, что ее надменное лоно пропахал конец ее братца, я взглянул на нее другими глазами. Но в остальном потрясения я не испытал. В тех местах, откуда я родом, беспросветная скука постоянно подталкивает юных жеребчиков к кровосмешению и к делам похуже: хоть я никогда не трогал свою сестрицу, я знал многих парней, которые этим занимались. Причиной того, что я не лез своими грязными лапами к Сие, был недостаток влечения, а не какие-нибудь там племенные табу. Но для Тимоти это все-таки было делом серьезным, и во время его рассказа я хранил уважительное молчание, напустив на себя мрачный и беспокойный вид.

Поначалу он говорил сбивчиво, явно находясь в смятении, потел и запинался, как Линдон Джонсон, начинающий объяснять свою вьетнамскую

политику перед трибуналом по военным преступлениям. Но вскоре слова полились гладко, будто он неоднократно репетировал эту историю про себя, а теперь, после того как прошла первая неловкость, рассказывал не задумываясь. Тимоти поведал мне, что случилось это ровно четыре года назад, в том же месяце, когда он приехал домой на Пасху из Эндовера, а сестра — из женской академии в Пенсильвании, где она тогда училась. (К этому времени до нашего знакомства с Тимоти оставалось целых пять месяцев.) Ему тогда исполнилось восемнадцать, а сестре примерно пятнадцать с половиной. Отношения у них были не ахти ни тогда, ни раньше: она была из тех крошек, чье общение со старшим братом ограничивается показыванием языка. Он считал ее противной задавакой, а она его — грубым мужланом. Во время предыдущих рождественских каникул он переспал с лучшей подругой и одноклассницей сестры, и она об этом узнала, что лишь добавило напряженности в их отношения.

Период для Тимоти был сложным. В Эндовере он считался влиятельным, вызывающим всеобщее восхищение лидером, героем футбольных баталий, старостой класса, прославленным

символом мужественности и savoir faire[31]; но через считанные месяцы он должен был закончить школу и полностью лишиться приобретенного положения, став одним из многих первокурсников в большом, всемирно известном университете. Это причиняло ему немало переживаний. Еще он поддерживал требовавшие немалых усилий и расходов «дистанционные» любовные отношения с одной девицей из Рэдклифа, старше него на год или два; он не любил ее, но для него было делом престижа — иметь возможность говорить, что трахает студентку, и он почти не сомневался, что она в него влюблена. Прямо перед Пасхой Тимоти случайно узнал через третьи руки, что на самом деле она считала его забавным щенком, чем-то вроде охотничьего трофея из подготовительной школы, который можно демонстрировать своим бесчисленным лощеным друзьям из Гарварда; короче говоря, ее отношение к нему было еще более циничным, чем его к ней.

В общем, в фамильное поместье той весной он приехал в подавленном состоянии, что для Тимоти было в новинку. И тут же он получил еще один

---

[31] Примечания: 31
знание (фр.)

повод для нервотрепки. В его родном городке жила девушка, которую он любил, по-настоящему любил. Я не уверен в истинном значении того, что Тимоти понимал под словом «любовь», но думаю, этим термином он пользовался по-отношению к любой девице, соответствовавшей его понятиям о внешности, состоянии и происхождении, которая не позволит ему переспать с ней; это делает ее недоступной, ставит ее на пьедестал, и поэтому он говорит себе, что «любит» ее. В некотором роде донкихотство. Девица, которой исполнилось семнадцать лет, незадолго до этого была принята в Беннингтон. Она происходила из семьи, почти столь же состоятельной, как и семейство Тимоти, входила в обойму аристократов-небожителей и, если верить Тимоти, фигура у нее была такая, что хоть на конкурс красоты выставляй. Принадлежали они к одному кругу, и он с подросткового возраста играл с ней в гольф, теннис, танцевал, но все его редкие попытки добиться более тесных дружеских отношений умело отражались. Он настолько увлекся ею, что даже начал подумывать о женитьбе, и убедил себя в том, что она уже избрала его в качестве будущего супруга; следовательно, рассуждал Тимоти, она не позволяет ему прикасаться к ней, потому что знает, в глубине

души он придерживается двойных стандартов, и боится, что стоит ей преждевременно допустить его до тела, как он сочтет ее недостойной брака.

В первые несколько дней пребывания дома Тимоти звонил ей каждый вечер. Вежливые, дружеские, довольно сухие разговоры. Похоже было, что свидания наедине не добиться — свидания в их кругу явно были не в почете, — но она сказала ему, что встретится с ним на танцах в деревенском клубе в субботу вечером. Повод для радужных надежд. Танцы представляли собой довольно формальное мероприятие с постоянно меняющимися партнерами, время от времени уединяющимися в различных, уже опробованных закоулках клуба. В разгар вечера ему удалось заманить ее в один из таких уголков, и хоть он и не преуспел в проникновении в ее потаенные места, на этот раз он продвинулся гораздо дальше, чем раньше: язык в рот, руки под лифчик. Ему показалось, что в глазах у нее он заметил разгоревшийся огонь. Во время очередного танца Тимоти пригласил ее прогуляться с ним — что тоже было составной частью клубного ритуала. Они немного прошлись по свежему воздуху. Он предложил зайти в лодочный сарай. При том раскладе экскурсия в лодочный сарай означала

приглашение потрахаться. Как только они вошли туда, его пальцы жадно заскользили по прохладным бедрам. Ее трепещущее тело отзывалось на его ласки. Ее пылкая ладонь терлась о его натянувшиеся спереди брюки. Он набросился на нее, как сорвавшийся с привязи бык, намереваясь отодрать ее прямо там же, на месте, но со сноровкой олимпийской чемпионки по девственности она всадила ему свое девичье колено прямо в яйца, избежав, таким образом, в самый последний момент стопроцентного изнасилования. Обложив его отборными словами по поводу его скотских замашек, девица выскочила наружу, оставив Тимоти, онемевшего и ошеломленного, в холодном лодочном сарае. В паху он ощущал дикую боль, в голове бурлила слепая ярость. Что в такой ситуации остается делать горячему американскому парню? Тимоти побрел обратно в клуб, стащил из бара полбутылки бурбона и нетвердой походкой вышел в ночь. Он был в ярости, и ему было себя очень жалко. Заглотнув половину бурбона, он вскочил в свой ладненький спортивный «мерседес» и рванул домой на скорости восемьдесят миль в час; потом посидел еще и в гараже, допивая остаток бурбона; потом, накачавшись до бесчувственности и ополоумев

от ярости, пошел наверх, вломился в девичью спаленку своей сестры и навалился на нее. Она отбивалась. Она умоляла его. Она хныкала. Но силы у парня удесятерились, и ничто не могло свернуть его с выбранного курса, тем более что за него в тот момент думал его огромный стояк. Он видел перед собой девушку; он видел перед собой стерву; он собирался ею попользоваться. В тот момент он не делал разницы между вожделенной ди-намисткой из лодочного сарая и своей заносчивой сестрицей: они обе были стервами, все они были стервами, и он собирался одним махом расквитаться со всех их племенем. Придавив сестру коленями и локтями, он сказал: «Если заорешь, я сломаю тебе шею». Тимоти не шутил, потому что был не в себе, и она это тоже поняла. Спущены пижамные штаны с его дрожащей сестры. В ее нежное отверстие вламывается храпящий жеребец, в которого превратился ее брат.

— По-моему, она даже не была девушкой, — угрюмо сказал он мне. — Я вошел сразу же, без проблем.

Через две минуты все было кончено и Тимоти отвалился от нее. Их обоих трясло: ее — от шока, его от облегчения. Он указал ей на то, что ничего хорошего не выйдет, если она пожалуется роди-

телям, поскольку они, вероятно, ей не поверят, а если все же и пригласят доктора для проверки, то наверняка случится скандал, пойдут слухи, сплетни, и как только все это обойдет город, она навсегда лишится всяких шансов на брак с любым достойным кандидатом. Она посмотрела на него. Никогда еще ни в чьем взгляде Тимоти не видел такой ненависти.

Он потащился в свою комнату, несколько раз грохнувшись по дороге. Когда он проснулся, протрезвевший и охваченный ужасом, дело шло уже к вечеру. Тимоти ожидал обнаружить внизу полицейских, пришедших по его душу, но там не было никого, кроме отца, мачехи и прислуги. У всех был такой вид, будто ничего необычного не произошло. Отец улыбнулся и спросил, как прошли танцы. Сестра куда-то ушла с друзьями. Вернулась, она только к ужину и, когда вошла, вела себя так, словно все идет как надо. Она поздоровалась с Тимоти холодным, небрежным кивком. В тот вечер она отозвала его в сторону и сказала угрожающим, устрашающим голосом: «Если ты еще раз попробуешь это сделать, то получишь нож в яйца, я тебе обещаю». Но это было последним упоминанием с ее стороны о том, что он сотворил. За четыре года она ни разу об этом

не заговаривала, по крайней мере с ним. Вероятно, она вообще никому не рассказывала, что произошло, запрятав этот эпизод в закрома памяти, отнеся его к разряду ночных неприятностей, вроде приступа поноса. Я могу подтвердить, что держалась она с неприступно холодным видом, играя роль вечной девственницы, независимо от того, что творилось у нее в душе.

Вот и все. Вот и вся история. Закончив рассказ, Тимоти поднял глаза. Он был выжат, опустошен, с посеревшим лицом, постаревший на полтора миллиона лет.

— Не могу выразить, насколько погано я всегда себя чувствовал из-за того, что сделал, — сказал он. — Насколько виноватым.

— Теперь тебе легче? — спросил я.

— Нет.

Я этому не удивился. Я никогда не верил, что выворачивание души приводит к утолению печалей.

Просто при этом печали распространяются немного шире. Рассказанное Тимоти было тупой, терпкой историей, вызывающей тошноту. Сказочка про бездельников-богатеев, мысленно трахающих друг друга обычным образом, создающих небольшие мелодрамы с участием самих

себя и своих друзей, где сюжет раскручивается под воздействием чванства и разочарований. Я почти жалел Тимоти, здоровенного увальня, добродушного представителя сливок общества, Тимоти, оказавшегося в одинаковой степени и преступником, и жертвой, просто хотевшего слегка перепихнуться в деревенском клубе, а вместо этого получившего коленом в причинное место. И вот он напился и изнасиловал свою сестру, потому что думал, от этого ему станет легче, или потому что вообще не думал. И это было его великой тайной, его страшным грехом. Я чувствовал себя испачканным рассказанной им историей. Все это было и подло, и достойно жалости; отныне мне придется всегда носить это с собой. Я не мог сказать ему ни слова. После примерно десятиминутного молчания он тяжело поднялся и побрел к двери.

— Ладно, — сказал он. — Я сделал то, что от меня хотел брат Ксавьер. Теперь я чувствую себя куском дерьма. А ты, Оливер, как себя чувствуешь? — Затем хохотнул: — Завтра твоя очередь.

И вышел.

Да. Завтра моя очередь.

37. ЭЛИ

Оливер начал рассказывать:

— Дело было в начале сентября. Мы с моим другом Карлом пошли на охоту и все утро рыскали в поисках голубей и куропаток по перелеску к северу от городка, но ничего, кроме пыли и грязи, не нашли. Потом мы вышли из-за деревьев и увидели озеро — скорее, пруд — нам было жарко, мы вспотели, потому что лето еще не совсем закончилось. И вот мы положили ружья, сбросили одежду, поплавали, а затем уселись голышом на большой плоский валун, просыхая и одновременно надеясь, что какие-нибудь птицы будут пролетать мимо нас, и мы сможем их подстрелить, даже не вставая. Карлу тогда исполнилось пятнадцать лет, а мне четырнадцать, но я был крупнее его, потому что я уже достиг своего полного роста и обошел его по весне. За несколько лет до того Карл казался таким возмужалым и большим, но теперь выглядел щуплым и хрупким по сравнению со мной. Мы долго молчали, а когда я уже собрался предложить одеться и пойти, Карл повернулся ко мне с особым выра-

жением глаз, и я увидел, что он разглядывает мое тело, мою промежность. И он сказал что-то насчет девчонок, какие они дуры, какие дурацкие звуки они издают, когда ты их валяешь, как ему осточертело вести с ними дурацкий треп про любовь, прежде чем они отдаются, как ему надоели их болтающиеся сиськи, их косметика, их хихиканье, и что он терпеть не может поить их лимонадом и выслушивать их болтовню, и так далее. Он много наговорил на этот счет. Я засмеялся и сказал, что у девчонок, может, и есть свои недостатки, но ведь других развлечений у нас в городке нет. А Карл ответил, что есть.

Тогда я решил, что он меня подначивает, и заявил, что никогда не испытывал желания вдуть корове или овце, и предположил, что Карл, наверное, за утками недавно гонялся. Он покачал головой. Вид у него был раздраженный. «Я говорю не о том, чтобы трахать скотину, — сказал он тоном, каким обычно увещевают маленького ребенка. — Такое дерьмо — только для слабоумных, Оливер. Я просто пытаюсь объяснить тебе, что есть один способ словить кайф, хороший способ, чистый, без участия девиц, и тебе не придется продавать себя им и делать все, чего они от тебя хотят. Понимаешь, о чем я? „Это просто, честно,

четко, все карты открыты, и я хочу тебе кое-что сказать, только не отмахивайся, пока не попробуешь“. Я был еще не вполне уверен в том, что он подразумевал, отчасти по своей наивности, отчасти из-за того, что не хотел верить в то. что он мог иметь в виду, и издал какое-то ни к чему не обязывающее бурчание, которое Карл принял за поощрение к дальнейшим действиям, потому что тут же потянулся ко мне и положил мне руку высоко на бедро. Эй, погоди, говорю я, а он снова: не .отмахивайся, пока не попробуешь, Оливер. Он все говорил и говорил низким, напряженным голосом, слова так и сыпались из него; он объяснял мне, что женщины — те же животные и ничего больше, и что он всю жизнь собирается держаться от них подальше, что даже если женится, не будет прикасаться к жене кроме как для того, чтобы заделать детей, но в остальном, что касается удовольствий, он собирался обходиться лишь отношениями с мужчинами, так как это единственный достойный и честный способ. Ты ходишь на охоту с мужчинами, ты играешь в карты с мужчинами, напиваешься с мужчинами, говоришь с мужчинами так, как никогда не говоришь с женщинами, по-настоящему открывая душу, так почему же не пойти до конца и не по-

лучать удовольствие от мужчин же?

И все время, пока он мне это объяснял, говоря очень быстро, не давая мне вставить ни слова, производя впечатление почти полной логичности и рациональности, он не убирал ладонь с моего бедра, делая это как бы невзначай, как если бы ты, разговаривая, положил кому-нибудь руку на плечо, ничего под этим не подразумевая, а Карл водил ладонью вверх и вниз, вверх-вниз, придвигая ладонь все ближе и ближе к промежности. И он возбуждался, Эли, и я тоже, и меня так поразило, что у меня встает. А над нами чистое голубое небо и ни одной живой души на пять миль вокруг. Я боялся опустить глаза и посмотреть на себя, стыдился того, что со мной происходит. Для меня стало открытием, что меня так может возбудить другой парень. Только разок, сказал он, всего один разок, Оливер, и если тебе не понравится, я никогда об этом не напомню, но ты не должен отказываться, пока не попробуешь, слышишь? Я не знал, что ему ответить, не знал, как убрать его руку. А потом его пальцы полезли еще выше, вот сюда и даже выше, и… Слушай Эли, знаешь, не хотелось бы слишком наглядно… Если тебе неприятно, только скажи, и я попробую описать все более общими словами…

— Говори так, как считаешь нужным, Оливер.

— Он двигал руку все выше и выше, пока его пальцы не сомкнулись вокруг моего… на моем члене, Эли, он держал мой конец, держал так, как могла бы держать какая-нибудь девчонка, а мы вдвоем сидели голыми на берегу того озерка, где только что купались, на опушке, и его слова проносились у меня в голове, подсказывая мне, как мы могли бы сделать это, как мужчины занимаются этим. Я все знаю про это, сказал Карл, от своего зятя. Ты знаешь, он ненавидит мою сестру, они всего три года женаты, а он уже ее терпеть не может, ее запах, то, как она все время пилит ногти, ему все в ней не нравится, и как-то вечером он мне говорит: давай, Карл, я тебе доставлю удовольствие, и он был прав, это было отлично. Так давай, Оливер, я и тебе доставлю немножко удовольствия. А потом скажешь, с кем тебе было лучше, со мной или с Кристой Хенрикс, со мной или с Джуди Бичер.

В комнате сильно и пряно пахло потом. Голос Оливера звучал напряженно и резко: каждый звук вылетал из него с силой дротика. Глаза у него блестели, а лицо горело. Казалось, он в каком-то трансе. Будь это не Оливер, я решил бы, что он укололся. За свою исповедь он платил

страшную душевную цену: это было очевидно с того момента, как он вошел, стиснув зубы, поджав губы, в напряженном состоянии, в каком я его раньше видел лишь несколько раз, и начал свою бессвязную, сбивчивую историю про тот день ранней осени в канзасских лесах, когда он был еще мальчиком. По мере того как раскручивалось его повествование, я пытался предугадать ход событий, определить, чем все закончится. Я предположил, что, по-видимому, он каким-то образом обманул Карла. Может быть, он надул его при дележе дневной добычи? Может, украл у Карла патроны, когда тот отвернулся? Или застрелил его в результате какой-нибудь ссоры, а шерифу сказал, что это был несчастный случай? Ни одна иа догадок не была» убедительной, но я оказался не готов к такому повороту сюжета, к продвигающейся по бедру руке, к такому, по всем правилам, соблазнению. Деревенский фон — ружья, охота, лес — повел меня по ложному пути: мои простодушные представления о детстве, проведенном в Канзасе, не оставляли места гомосексуальным забавам и другим проявлениям того, что я считал чисто городскими вариантами разложения. Но вот Карл, достигший зрелости охотник, лапающий невинного юного Оливера, а

вот и сам Оливер, ставший старше, а теперь корчащийся передо мной, выдавливающий слова из тайников своей души. Речь его сделалась менее натужной: теперь Оливера захватил собственный рассказ, и хоть его страдания не уменьшились, описания стали более многословными, будто он испытывал какую-то мазохистскую гордость, выворачивая передо мной это происшествие: это было не столько исповедью, сколько актом самоуничижения. История же, щедро сдобренная живописными подробностями, неумолимо катилась дальше. Оливер описал свою девичью стыдливость и неловкость, постепенное отступление под напором откровенной софистики Карла, тот решающий момент, когда его дрожащая рука потянулась, наконец, к телу Карла. Оливер не утаил от меня ничего. Как я узнал, обрезанным Карл не был, а на тот случай, если мне неизвестны анатомические последствия сего факта, Оливер подробно описал мне внешний вид необрезанного члена и в висячем, и в стоячем положении. Поведал он мне и о ласках руками, и о своем посвящении в радости орального секса, и, наконец, описал, как два мускулистых юношеских тела затейливо извивались, слившись в экстазе на берегу пруда. В его словах звучал

пыл библейского края: он совершил мерзость, он погряз в содомском грехе, он запачкался вплоть до седьмого поколения, и все это за тот единственный вечер юношеских развлечений. Мне хотелось сказать: «Ладно, Оливер, ну сделал ты это со своим приятелем, но зачем про это так долго и нудно рассказывать? Ты же все равно остался гетеросексуалом, верно? Каждый в детстве баловался с другими ребятами, а Кинсли нам как-то давно говорил, что по крайней мере каждый третий подросток испытал оргазм с…» Но я ничего не сказал. Это был бенефис Оливера, и мне не хотелось его перебивать. Это было его незаживающей раной, оседлавшим его огненноглазым демоном, и теперь он представлял это на мой суд. Его уже нельзя было остановить. Он неумолимо довел меня до заключительной вспышки оргазма, а по-том откинулся назад, выжатый, ошеломленный, с обмякшим лицом, с потухшим взглядом. В ожидании моего приговора, как я догадался. А что я мог сказать? Смею ли я осуждать его? Я ничего не сказал.

— А что было потом? — все-таки спросил я после долгой паузы.

— Мы окунулись, привели себя в порядок, оделись, пошли и подстрелили несколько диких

уток.

— Нет, я имею в виду потом. Что было между тобой и Карлом? Как это повлияло на вашу дружбу?

— По дороге домой, — ответил Оливер, — я сказал Карлу, чтобы он больше ко мне и близко не подходил, не то я оторву его дурацкую башку.

— И что?

— И он больше ко мне не подходил. Через год он соврал насчет своего возраста, записался в морскую пехоту и погиб во Вьетнаме.

Оливер вызывающе посмотрел на меня, явно ожидая еще одного вопроса, который он считал неизбежным, но у меня больше не было вопросов: нелогичная, никак не вытекающая из рассказа смерть Карла прервала сюжетную нить. Наступило продолжительное молчание. Я ощущал себя по-дурацки. Потом Оливер сказал:

— Это был единственный раз в моей жизни. Только раз я этим занимался. Ты ведь мне веришь, Эли?

— Конечно.

— Правильно. Потому что это правда. Это случилось один раз с Карлом, когда мне было четырнадцать лет, и все. Ты знаешь, я и согласился-то поселить у нас педика, чтобы вроде как себя

проверить, увидеть, могу ли я поддаться искушению, узнать про свои естественные наклонности, понять, произошло ли тогда все с Карлом случайно, было ли стечением обстоятельств или это снова повторится, как только представится возможность. Ладно, вот она, возможность. Но я уверен, ты знаешь, что я никогда не занимался этим с Недом. Ты же знаешь? Вопрос о физических отношениях у меня с Недом никогда не стоял.

— Да, конечно.

Его взгляд сосредоточился на мне. В глазах снова загорелся огонь. Ты еще ждешь, Оливер? Чего?

— Есть еще кое-что, о чем я хотел бы тебе сказать.

— Говори, Оливер.

— Еще одно. Маленькое примечание, но в нем-то и вся суть этой истории, потому что в этом-то и заключается моя вина. Моя вина, Эли, не в том, что я сделал. Она в том, что я ощущал в то время, как это делал.

Нервное сглатывание. Очередная пауза. Ему явно нелегко давалась эта последняя деталь. Он не смотрел на меня. Я думаю, он жалел, что не закончил свою исповедь пять минут назад. После некоторого молчания Оливер заговорил:

— Я скажу. Я наслаждался этим, Эли. Тогда, с Карлом. Я получил несравненное удовольствие. Казалось, все мое тело взрывается. Наверное, это было самым большим кайфом в моей жизни. Больше я к этому не возвращался, потому что знал: это неправильно. Но я хотел. И до сих пор хочу. Я всегда этого хотел. — Его трясло. — Мне всегда приходилось с этим бороться, каждую минуту своей жизни, и я никогда этого не понимал, пока совсем недавно не обнаружил, какую тяжкую борьбу мне приходится вести. Это все, Эли. Все, без остатка. Это все, что я хотел сказать.

38. НЕД

Входит угрюмый Эли, шаркающий ногами, с унылым видом раввина, за плечами которого два тысячелетия скорби, являя собой опустившее плечи напоминание о Стене Плача. Он подавлен. Очень подавлен. И я, и все остальные заметили, насколько благотворно сказалась на Эли жизнь в Доме Черепов: он воспрянул духом с того самого дня, как мы здесь оказались, ; воспрянул и возгордился настолько, что я его не узнавал. Но эта полоса закончилась. За последнюю неделю он начал сдавать. А за эти несколько исповедальных дней он, казалось, провалился на дно глубочайшей бездны. Печальные глаза, опущенные уголки губ. Язвительная мина человека, сомневающегося в себе, презирающего себя. От него исходит холод. Воплощение тоски. Что снедает тебя, возлюбленный Эли?

Мы немного потрепались. Я чувствовал себя свободно и легко, как на крыльях, в течение всех предыдущих трех дней после того, как вывалил на Тимоти историю про Джулиана и Оливера. Брат Ксавьер свое дело знает: перетряхнуть весь

старый мусор было именно то, чего мне не хватало. Вытащить на свет божий, проанализировать, выяснить, что именно мучило тебя больше всего. И теперь, в разговоре с Эли, я был оживлен и не напрягался, во мне не было обычной злобности; я не испытывал желания торопить его, а просто сидел и ждал, как самый спокойный на свете кот, готовый принять его боль и освободить его от нее. Я ожидал, что он выпалит свою исповедь с очищающей душу быстротой, но нет, еще рано, уклончивость характерна для Эли; ему хотелось поговорить на другие темы. Он поинтересовался, как я оцениваю наши шансы пройти Испытание. Пожав плечами, я ответил, что редко думаю о подобных вещах, а просто занимаюсь повседневными делами — прополкой, медитацией, упражнениями, скручиванием — и говорю себе, что с каждым днем я так или иначе все ближе к цели. Поначалу он не сомневался, что наше Испытание завершится успешно, и остатки скептицизма покинули его: он безоговорочно верил в правдивость «Книги Черепов» и в то, что ее дары распространятся и на нас. Сейчас же его вера в «Книгу Черепов» осталась незыблемой, но поколебалась уверенность в себе. Он был убежден в приближении развязки, которая определит наши

судьбы. Проблема, как он сказал, заключалась в Тимоти. Эли был почти уверен, что терпимость Тимоти к Дому Черепов уже на пределе и что через пару дней он смоется, оставив нас у разбитого корыта в виде неполного Вместилища.

— И я так думаю, — признался я.

— А что мы можем предпринять?

— Немногое. Мы не можем вынудить его остаться.

— А если он уйдет, что будет с нами?

— Откуда я знаю, Эли? Полагаю, у нас будут сложности с братией.

— Я не хочу, чтобы он ушел, — с неожиданной горячностью заявил Эли.

— Не хочешь? Как же ты предлагаешь его остановить?

— Еще не придумал. Но я ему не позволю уйти. — Его физиономия приобрела трагическое выражение. — Господи Иисусе, неужели ты не видишь, Нед, что все разваливается ?

— А я-то думал, что мы становимся сплоченнее, — возразил я.

— Ненадолго. Лишь на короткое время. Теперь этого уже нет. Мы никогда не имели реального влияния на Тимоти, а сейчас он даже и не пытается скрыть своего нетерпения, презрения…

— Эли по-черепашьи втянул голову в плечи. — А еще этим жрицы. Эти послеобеденные оргии. Я с ними не управляюсь, Нед. Я никак не могу взять себя в руки. Здорово, конечно, что все это так просто достается, но я не усваиваю эротические дисциплины, которыми должен овладеть.

— Рановато сдаешься.

— Я не вижу никакого продвижения. Меня никак не хватает на трех женщин. Только на двух, да и то — пару раз. А трех — нет.

— Дело наживное, — заметил я.

— У тебя получается?

— И довольно неплохо.

— Ну да, конечно. Потому что тебе плевать на женщин. Для тебя это просто физическое упражнение, вроде как покачаться на трапеции. Но я-то, Нед, что-то испытываю к этим девушкам, я вижу в них объект половых устремлений, то, что я с ними делаю, имеет для меня громадное значение, и поэтому… и поэтому… О Господи, Нед, если мне не удастся освоить эту часть процедуры, то какой смысл напрягаться насчет всего остального?

Он провалился в бездну жалости к самому себе. Я бормотал что-то подходяще ободряющее: мол, не отчаивайся, старик, ты себя недооцениваешь. Потом я напомнил, что он должен исповедовать-

ся передо мной. Эли кивнул. С минуту или больше он сидел молча, покачиваясь взад и вперед. Наконец он заговорил, и его слова прозвучали поразительно неуместно:

— Нед, а ты знаешь, что Оливер — педераст?

— Мне потребовалось не больше пяти минут, чтобы ато понять.

— Так ты знал?

— Рыбак рыбака видит издалека, разве ты этого никогда не слышал? Я разглядел это в его лице с момента первой же встречи. Я сказал тогда себе: этот парень — голубой, знает он об этом или нет, он — один из нас, это очевидно. Остекленелый взгляд, стиснутые зубы, выражение подавляемого желания, почти неприкрытая дикость души, которой не разрешено делать то, чего она хочет. Все в Оливере так и кричит об этом — самоистязание занятиями, то, как он относится к спорту, даже его маниакальная погоня за бабами. Он представляет собою классический пример подавленной гомосексуальности, все верно.

— Не подавленной, — сказал Эли.

— Что?

— Он не просто потенциальный педераст. Он имел гомосексуальный опыт. Только раз, правда, но это произвело на него такое сильное впечат-

ление, что наложило отпечаток на всю его жизнь после четырнадцати лет. Как ты думаешь, почему он предложил тебе поселиться в комнате вместе с ним? Для проверки самоконтроля — это было для него упражнением на выдержку, и за все эти годы он ни разу не позволил себе коснуться тебя… но он хочет именно тебя, Нед, разве ты этого не замечал? Это не скрытая форма. Это вполне осознанно, просто не выпускается наружу.

Я посмотрел на Эли странным взглядом. Сказанное им я мог бы, вероятно, обернуть к своей выгоде; а помимо надежд на достижение личных целей я испытывал зачарованность и изумление, как и любой бы на моем месте после таких сведений. Но при этом появилось и какое-то тошнотворное чувство. Я вспомнил об одном случае, во время летних каникул в Саутемптоне. На пьяной, разгульной вечеринке два мужика, которые жили вместе лет двадцать, очень крепко поссорились, и один из них вдруг сорвал с другого махровый халат, оголив перед всеми нами его жирный колышущийся живот, почти безволосый пах и недоразвитые гениталии десятилетнего ребенка, вопя при этом, что с этим он вынужден уживаться многие годы. Это раздевание, драматичное срывание маски служило

темой пересудов на самых изысканных коктейль-вечерах в течение нескольких недель, но я чувствовал себя подавленно, так как и я, и все присутствовавшие при этом стали невольными свидетелями чьей-то муки, и я понимал, что в тот день было заголено не только чье-то тело. Мне ни к чему было знать то, что я узнал тогда. А теперь Эли рассказал мне нечто, могущее, с одной стороны, оказаться полезным для меня, но с другой — превращающее меня помимо моего желания в человека, залезающего в чужую душу.

— Откуда ты его узнал? — спросил я.

— Оливер мне рассказал прошлой ночью.

— В своей испо…

— В своей исповеди, верно. Это было давно, в Канзасе. Он пошел на охоту в лес со своим приятелем, мальчишкой на год старше него, они решили искупаться, а когда вышли из воды, тот парень соблазнил его, а Оливер словил от этого кайф. И он никогда не забывал обо всем этом — ни о насыщенности тех ощущений, ни о чувстве физического восторга, — хотя и приложил все усилия, чтобы это больше не повторялось. Так что ты совершенно прав, когда говоришь о возможности объяснить многое из того, что касается его жесткости, его одержимости, его постоянных

усилий подавить…

— Эли!

— Что, Нед?

— Эли, эти исповеди предполагается держать в тайне.

Он закусил нижнюю губу.

— Я знаю.

— Тогда зачем ты это делаешь?

— Я думал, тебе будет интересно.

— Нет, Эли, так не пойдет. Чтобы человек с твоими моральными представлениями, с твоим экзистенциальным отношением к жизни… нет, парень, у тебя на уме не просто сплетни. Ты пришел сюда с намерением предать мне Оливера. Зачем? Ты хочешь сделать так, чтобы между мной и Оливером что-то началось?

— В общем-то, нет.

— Зачем же тогда ты мне про него рассказал?

— Потому что знал, что это неправильно.

— Что за идиотский аргумент?

Он издал забавное кудахтанье и неуверенно улыбнулся.

— Это позволяет мне в чем-то исповедаться, — сказал Эли. — Я считаю это нарушение тайны самым гнусным поступком в своей жизни. Открыть секрет Оливера человеку, способному

воспользоваться его уязвимостью. Ладно, дело сделано, и теперь я могу формально сказать, что я это сделал. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa[32]. Грех был совершен прямо у тебя на глазах, а теперь давай мне отпущение, согласен?

Он тараторил так быстро, что на какое-то мгновение я утратил нить хитросплетений его иезуитских доводов. Но даже поняв, о чем он говорит, я не мог поверить, что это серьезно.

Наконец я сказал:

— Это отговорка. Эли.

— Думаешь?

— Такие циничные штучки недостойны даже Тимоти. Это нарушает дух, а может, и букву указаний брата Ксавьера. Врат Ксавьер не имел в виду, чтобы мы совершали грехи на месте и тут же в них раскаивались. Ты должен исповедаться в чем-то настоящем, действительно происшедшем с тобой в прошлом, в чем-нибудь, годами сжигающем тебя изнутри, в чем-то сокровенном и грязном.

— А если у меня нет ничего такого?

— Неужели?

— Ничего.

---

[32] Примечания: 32
По моей вине, моей большой вине

— И ты никогда не желал смерти своей бабушке за то, что она заставила тебя надеть новый костюм? И ты никогда не подглядывал в душевую к девчонкам? Никогда не отрывал крылышки у мухи? Неужели Эли, ты можешь утверждать с чистой совестью, что за тобой нет никаких тайных проступков?

— Ничего подобного.

— Разве ты можешь сам об этом судить?

— А кто еще? — Он задергался. — Послушай, я бы тебе обязательно рассказал что-нибудь, если бы было о чем. Но у меня нет ничего. Какой смысл раздувать сцену с отрыванием крылышек у мухи? Я прожил маленькую пустячную жизнь, наполненную маленькими пустячными грешками, о которых и говорить-то не стоит. Я просто не видел другой возможности выполнить указания брата Ксавьера. И в последний момент я подумал о том, что можно выдать тайну Оливера, что я и сделал. Полагаю, этого достаточно. Если не возражаешь, я пойду.

Он сделал движение в сторону двери.

— Стой, — сказал я. — Я отвергаю твою исповедь, Эли. Ты пытаешься всучить мне грех ad

hoc[33], преднамеренную вину. Не пойдет. Мне нужно что-то настоящее.

— То, что я сказал про Оливера, настоящее.

— Ты понимаешь, что я имею в виду.

— Мне больше нечего тебе дать.

— Это нужно не мне, Эли. Это нужно тебе, это нужно для твоего очищения. Я через это прошел, и Оливер тоже, и даже Тимоти, а ты тут стоишь, отрицая свои собственные грехи, делая вид, что ни один из твоих поступков не заслуживает того, чтобы чувствовать себя виновным… — Я пожал плечами. — Ладно, в конце концов, ты рискуешь своим бессмертием, а не моим. Иди. Уходи.

Он окинул меня ужасным взглядом, взглядом, исполненным страха, обиды и муки, и торопливо вышел.

После его ухода я обнаружил, что мои нервы на пределе: у меня дрожали руки, а в левом бедре подергивалась мышца. Что же меня так взвинтило? Трусливое самоукрывательство Эли или разоблачение им доступности Оливера? Я решил, что и то, и другое. И то, и другое. Но второе — в большей степени, чем первое. Я попробовал представить, что бы было, если б я сейчас же пошел

---

[33] Примечания: 33
специально ради этого случая (лат.).

к Оливеру. Посмотрел бы прямо в его холодные голубые глаза. Я все про тебя знаю, сказал бы я ровным, негромким голосом. Мне все известно про то, как тебя соблазнил твой приятель, когда тебе было четырнадцать лет. Только не пытайся меня убедить, Ол, что речь идет о соблаанении, потому что я не верю в соблазнения, а уж я-то в этом кое-что понимаю. Если ты голубой, то это выясняется не из-за того, что тебя соблазнили. Ты делаешь это, потому что этого хочешь. Разве не так? Это сидит в тебе с самого начала, это заложено в твоих генах, в твоих костях, в твоих яйцах и просто ждет момента, чтобы проявиться, а если кто-нибудь дает тебе такой шанс, тогда это выходит наружу. Ладно, Ол, ты свой шанс получил, и тебе это понравилось. Ты семь лет боролся с этим, а теперь займешься этим со мной. Не из-за моих непреодолимых козней, не потому, что я одурманю тебя травкой или алкоголем. И соблазнения не будет. Нет, ты займешься этим, потому что хочешь, Ол, потому что всегда этого хотел. Тебе не хватало смелости позволить себе это. Хорошо же, скажу я ему, вот твой шанс. Вот я. И я подойду к нему, коснусь его, а у него дернется голова, он издаст хриплый горловой звук, по-прежнему пытаясь подавить в себе это, а потом в нем что-то

переключится, прорвется семилетнее напряжение, и он прекратит борьбу. Он сдастся, и мы в конце концов этим займемся. А потом мы будем лежать в изнеможении потной грудой, он начнет остывать, как это обычно бывает после, в душе у него начнет нарастать чувство вины и стыда, и — как живо мне все это представляется! — он будет бить меня до смерти, швырнет меня на каменный пол, на котором останутся пятна моей крови. Он нависнет надо мной, корчащимся от боли, и будет орать мне что-то яростное, потому что я показал ему самого себя, лицом к лицу, и он не смог вынести знания того, что увидел в своих собственных глазах. Ладно, Ол, раз тебе надо меня уничтожить, тогда убей. Это клево, потому что я люблю тебя, и что бы ты со мной ни сделал, будет в кайф. Кроме того, ведь это позволяет выполнить Девятое Таинство? Я пришел, чтобы обладать тобой и умереть, и я тобой обладал, а теперь наступил подходящий для таинства момент, чтобы я умер, и это чудесно, возлюбленный Ол, все замечательно. И его громадные кулаки крушат мои кости. А мое разбитое тело дергается и извивается. И, наконец, затихает. И в вышине слышится размеренный голос брата Энтони, произносящего текст Девятого Таинства, которое

звучит как звон невидимого колокола — дин-дон, дин-дон, Нед умер, Нед умер, Нед умер.

Видение было настолько правдоподобным, что меня начало знобить и трясти; каждой клеточкой своего тела я ощущал реальность пережитого. Мне казалось, что я уже побывал у Оливера, уже слился с ним .в порыве страсти, сгинул в огне его безудержной ярости. Поэтому нет никакой необходимости проделывать все это сейчас. Все прошло, завершилось, отложено в закрома памяти. Я смаковал воспоминания о нем. Ощущение его гладкой кожи. Его каменные мышцы, расслабляющиеся под моими ищущими пальцами. Его вкус на моих губах. Запах моей собственной крови, заливающей рот, когда он начинает меня метелить. Ощущение умирающего тела. Транс. Колокола. Голос в вышине. Братья, поющие реквием по мне. Я потерялся в калейдоскопе сменяющих друг друга видений.

Потом я осознал, что в комнату кто-то вошел. Дверь открылась и закрылась. Шаги. И это я тоже воспринял как элемент фантазии. Не оглянувшись, я решил, что это, должно быть, Оливер пришел ко мне, и в. каком-то наркотическом полусне я убедил себя, что это был именно Оливер, что это может быть только Оливер, а когда я

все-таки обернулся увидел Эли, то на мгновение смешался. Он тихо сидел у противоположной стены. Во время предыдущего визита он выглядел всего лишь подавленно, но сейчас — через десять минут? Через полчаса? — у него был совершенно потерянный вид. Потупленные глаза, обвисшие плечи.

— Я не понимаю, — глухо заговорил он, — какое значение — истинное, символическое, метафорическое или какое-нибудь еще — может иметь эта затея с исповедью. Мне казалось, я все понял, когда нам об этом говорил брат Ксавьер, но теперь я не врубаюсь. Неужели мы именно это должны сделать, чтобы отвести от себя смерть? Но для чего? Почему?

— Потому что они попросили об этом, — ответил я.

— И что из того?

— Это акт послушания. Из послушания возникает дисциплина, из дисциплины возникает способность к самоконтролю, из самоконтроля вырастает сила, способная подчинить силы разложения. Послушание направлено против энтропии. Энтропия — наш враг.

— До чего ж ты красноречив.

— Красноречие не грех.

Он рассмеялся и не ответил. Я видел, что он на грани, что он балансирует на лезвии ножа между здравым смыслом и сумасшествием, и я, всю свою жизнь проведший на этой грани, не собирался подталкивать его. Время шло. Образы Оливера и меня самого отступили и утратили реальность. Я не таил зла на Эли: эта ночь принадлежала ему. В конце концов он начал рассказывать мне об эссе, которое написал в шестнадцать лет, когда заканчивал школу, эссе о моральном крахе Западной Римской империи, выразившемся в вырождении латыни в различные романские языки. Он даже сейчас довольно неплохо помнил написанное — тогда и приводил наизусть обширные цитаты, а я слушал в пол-уха, лишь из вежливости изображая внимание и ничего больше, поскольку, хоть это эссе и казалось мне превосходным, достойным удивления творением ученого любого возраста и явно поразительным для шестнадцатилетнего мальчика, в данной ситуации я не испытывал особого желания вдаваться в тонкие этические материи, присутствовавшие в этапах развития французского, испанского и итальянского языков. Но постепенно до меня стали доходить мотивы Эли, побудившие его рассказывать мне эту историю, и я стал слушать внимательнее:

он, оказывается, исповедовался передо мной. Поскольку то эссе он написал для конкурса, организованного неким престижным ученым обществом, и занял первое место, получив в результате хорошую стипендию, позволившую ему учиться в колледже, вся его научная карьера была построена на этой статье. Ее напечатали в одном из основных филологических журналов, и он стал знаменитостью в этом маленьком ученом мирке. Будучи всего лишь первокурсником, он уже удостаивался восхищенных упоминаний в примечаниях других ученых; двери всех библиотек были открыты перед ним; у него никогда не появилось бы возможности отыскать ту самую рукопись, которая привела нас в Дом Черепов, не напиши он свое виртуозное эссе, позволившее ему стать известным.

— Но, — продолжал он все тем же бесцветным голосом, которым толковал про неправильные глаголы, — основная идея той работы принадлежала не мне.

Он ее украл.

Ага! Вот он, грех Эли Штейнфельда! Никаких пустяковых грешков на сексуальной почве, никаких детских опытов содомии или коллективной мастурбации, никаких кровосмесительных

объятий со — слабо протестующей маменькой, но преступление интеллектуальное, худшее из всего, что только могло быть. Ничего удивительного, что ему не хотелось в нем признаваться. Но теперь убийственная правда лилась из него сплошным потоком. Он рассказал, что однажды его отец, обедавший в забегаловке с автоматами на Шестой авеню, случайно обратил внимание на небольшого, седого, бесцветного человечка, сидевшего в одиночестве и погруженного в изучение толстой, громоздкой книги. Это был талмуд по лингвистическому анализу, «Диахронические и синхронические аспекты языка» Зоммерфельда. Название книги было бы пустым звуком для Штейнфельда-старшего, если бы незадолго до того он не выкроил немалую для их скромного семейного бюджета сумму в шестнадцать с половиной долларов на покупку экземпляра этой книги для Эли, который больше не мог жить без нее. При виде объемистого фолианта наступает потрясение узнавания. Прилив родительской гордости: мой сын — филолог. Взаимные представления. Разговор. Контакт налаживается сразу: одному эмигранту среднего возраста в забегаловке нечего опасаться другого. «Мой сын, — говорит мистер Штейнфельд, — читает

эту же книгу!» Изъявления восторга. Новый знакомый оказался выходцем из Румынии, бывшим профессором лингвистики из университета в Клуже; из Румынии бежал в 1939 году в надежде добраться до Палестины, но вместо этого кружным путем, через Доминиканскую Республику, Мексику и Канаду, попал в Соединенные Штаты. Оказавшись не в состоянии получить где бы то ни было работу преподавателя, перебивался любыми заработками: был мойщиком посуды в китайском ресторане, корректором недолго просуществовавшей газетенки на румынском, оператором мимеографа в информационной службе для перемещенных лиц и тому подобное. И все это время он прилежно работал над главным трудом своей жизни, структурным и философским анализом заката латыни в период раннего средневековья. Он сообщил отцу Эли, что рукопись уже написана на румынском, и он даже начал переводить ее на английский, но перевод идет очень медленно, поскольку он до сих пор не в ладах с английским, ведь голова у него плотно забита всякими другими языками. Он мечтает о том, чтобы закончить книгу, найти издателя и на ч вырученные деньги уехать в Израиль. «Мне нужно встретиться с вашим

мальчиком», — вдруг говорит румын. У отца Эли мгновенно просыпается подозрительность. Может быть, это какой-нибудь извращенец? Любитель мальчиков? Нет! Это почтенный пожилой еврей, ученый, меламед, член Международного общества жертв фашизма; неужели он может причинить какое-то зло Эли? Обмен номерами телефонов. Договоренность о встрече.

На следующий день Эли приходит в жилище румына: небольшая комнатушка, забитая книгами, рукописями, научными журналами на десятке языков. Вот, говорит этот достойный человек, прочитай это, это и это, мои статьи, мои теории; я он сует в руки Эли листки папиросной бумаги с густо напечатанным, через один интервал, почти без полей текстом. Эли спешит домой, он читает, его ум кипит. Вот это да! Старичок-то, оказывается, в полном уме! Воспламененный Эли клянется выучить румынский, чтобы стать секретарем своего нового друга, помочь как можно быстрее перевести его творение. Они вдвоем, мальчик и старик, лихорадочно обсуждают планы сотрудничества. Они строят замки в Румынии. Эли, не имеющий собственных денег, ксерокопирует рукописи, чтобы какой-нибудь гой из соседней квартиры, заснувший с сигаретой, не уничтожил

научные труды целой жизни бессмысленным поджогом. Каждый день Эли после школы спешит в маленькую захламленную комнатушку. Но однажды никто не отзывается на его стук. О горе! Вызывается сторож, ворчащий и дышащий перегаром; он открывает своим ключом дверь, там лежит румын с пожелтевшим лицом, уже окоченевший. Общество беженцев оплачивает похороны. Тут появляется племянник, таинственным образом ни разу не упоминавшийся ранее, и увозит все книги, все рукописи в неизвестном направлении. Эли остается е ксерокопиями. Что теперь? Как ему стать той движущей силой, при помощи которой человечество сможет познакомиться с этой работой? Есть идея! Конкурс на стипендию! Он как одержимый сидит часами за пишущей машинкой. В его мозгу расплывается грань между ним самим и его почившим знакомым. Теперь они соавторы; через меня, думает Эли, этот великий человек говорит из могилы. Сочинение закончено, и у Эли не возникает ни малейших сомнений в его ценности: это просто шедевр. Вдобавок ему доставляет особое удовольствие осознание того, что он спас результаты трудов целой жизни незаслуженно забытого ученого. Он посылает требуемые шесть экземпляров

в комиссию по проведению конкурса; весной приходит заказное письмо, в котором сообщается, что он занял первое место. Его вызывают в мраморный зал для получения грамоты и чека на сумму, о которой он не мог и мечтать, после чего следуют взволнованные поздравления от жюри, состоящего из знаменитых профессоров. Вскоре приходит первый запрос о публикации в специальном журнале. Его карьере положено начало. Лишь впоследствии Эли осознает, что он почему-то совершенно забыл в своем победоносном сочинении воздать должное автору работы, на которой основывались его идеи. Ни слов признательности, ни примечаний, ня единой ссылки.

Это упущение приводит его в замешательство, но он чувствует, что уже поздно исправлять оплошность, да и запоздалое выражение признательности не приносит облегчения. Проходит все больше времени, сочинение уже в печати, по поводу него уже ведутся научные споры. Эли живет в страхе, ожидая в любой момент, что вдруг появится какой-нибудь пожилой румын, сжимающий пачку таинственных журналов, напечатанных в довоенном Бухаресте, и закричит, что этот бесстыжий молодой человек без зазрения совестя украл мысли его старшего,

уважаемого коллеги, несчастного доктора Николеску. Но обличающий румыа не появился. Прошло несколько лет, и вот уже перед окончанием колледжа ряд крупнейших университетов борются за честь принять у себя Эли для дальнейших исследований на одном из факультетов.

Весь этот прискорбный эпизод, как сказал Эли в заключение, может служить метафорой его интеллектуальной жизни: сплошной обман, отсутствие глубины, все основные идеи заимствованы. Ему удалось добиться немалого, выдав компиляцию за оригинальный труд, добавив к этому бесспорные навыки в усвоении синтаксиса мертвых языков, но он не сделал никакого вклада в копилку знаний человечества, что в его возрасте было бы вполне простительно, если бы он не заработал жульническим путем преждевременной репутации наиболее глубокого мыслителя, появившегося в лингвистике со времен Бенджамина Вурфа. А что же Эли представлял собой на самом деле? Голем, дутая величина, мыльный пузырь от филологии. Сейчас от него ждали чудес интуиции, а что он мог дать? Ему больше нечего предложить, как он с горечью сказал мне. Он уже давно воспользовался последними листами рукописи румынского профессора.

Наступила ужасная тишина. Я не мог смотреть на него. Это было больше, чем исповедь: это было харакири. Эли уничтожил себя прямо у меня на глазах. Да, меня никогда не покидали подозрения относительно предполагаемой глубины интеллекта Эли, поскольку, хоть у него и был острый ум, его представления всегда производили на меня странное впечатление вторично-сти; и все же я и представить себе не мог, что он способен на такое мошенничество, на воровство. Что мог я ему сейчас сказать? Поцокать языком на манер священника и пробормотать: «Да, дитя мое, тяжкий грех ты совершил»? Он это и так знает. Сказать, что Бог простит его, потому что Бог есть любовь? Я в это и сам не верю. Может быть, воспользоваться словами Гёте: «Освобождение от греха через добрые дела все еще возможно». Эли, иди осушай болота, строй больницы и пиши новые замечательные, некраденые статьи, и у тебя все будет хорошо. А он сидел и ждал отпущения, ждал Слова, которое снимет с его души этот камень. Лицо его было неподвижным, глаза — опустошенными. Я пожалел, что он не исповедовался в каком-нибудь невинном плотском грешке. Оливер всего-навсего поимел своего приятеля, что для меня и грехом-то не считалось, а

лишь доброй забавой; следовательно, муки Оливера были надуманными, они были производной конфликта между естественными позывами тела и навязываемыми обществом установками. В Афинах времен Перикла ему не в чем было бы признаваться. Грех Тимоти, в чем бы он ни состоял, наверняка был таким же мелкотравчатым, происходящим не от каких-то моральных абсолютов, а от местечковых племенных табу: наверное, он переспал с горничной или подглядывал за совокуплением родителей. Мое же прегрешение имеет более сложный характер, поскольку мне доставила удовольствие гибель других людей, возможно, я даже стал виновником их гибели, но даже это было незначительным происшествием в духе Генри Джеймса, довольно несущественным, если как следует разобраться. Но только не поступок Эли. Если плагиат — основа его блестящих научных достижений, тогда у Эли вообще нет никакой основы: у него нет ничего за душой, он пуст, а какое отпущение можно дать ему в атом случае? Ладно, сегодня Эли уже пытался отделаться отговоркой, теперь моя очередь. Я встал, подошел к нему, взял его за руки, поднял и сказал магические слова: раскаяние, искупление, прощение, избавление. Всегда стремись к свету.

Эли. Ни одна душа не может быть проклята навеки. Работай в поте лица, отдай своему делу все силы, старайся достичь мира с самим собой, и милость Всевышнего не оставит тебя, поскольку все твои слабости исходят от Него, и Он не станет карать тебя, если ты докажешь, что способен переступить через содеянное.

Он машинально кивнул и ушел. Я вспомнил о Девятом Таинстве и подумал: увижу ли его вновь? Некоторое время я расхаживал по комнате, погруженный в мысли. Потом Сатана воспламенил меня, и я пошел к Оливеру.

39. ОЛИВЕР

— Я знаю всю твою историю, — сказал Нед. — Мне все известно.

Он застенчиво улыбнулся мне. Его ласковые, коровьи глаза смотрят в мои.

— Не надо бояться того, что ты есть, Оливер. Ты никогда не должен этого бояться. Неужели ты не понимаешь, насколько важно знать себя, проникнуть в свою душу как можно глубже, а потом действовать на основе того, что ты там обнаружишь! Но вместо этого очень много людей воздвигают глухие стены внутри себя, стены, сделанные из бессмысленных отвлеченных понятий. Множество всяких «нельзя» и «не полагается». Зачем? Что в этом хорошего?

Лицо у него сияет. Искуситель, дьявол. Должно быть, Эли ему все рассказал. Про Карда и меня, про меня и Карла. Мне захотелось снести Эли башку. Нед ходил вокруг меня кругами, ухмылялся, передвигался, как кот, как борец, готовый к прыжку. Говорил он тихо, почти мурлыкал.

— Давай, Ол. Расслабься. Лу-Энн ничего не узнает. Я не из тех, кто станет трепаться об одном

поцелуйчике. Пойдем, Ол, давай, давай сделаем это. Мы ведь не чужие. Хватит нам быть порознь. Это ты, Оливер, это подлинный ты, там, внутри, что пытается выбраться наружу, и наступил подходящий момент, чтобы его выпустить. Ну что же ты, Ол? Что же ты? Это твой шанс. Вот я.

И он подошел ко мне поближе. Посмотрел на меня снизу вверх. Низенький, маленький Нед, мне по грудь. Его пальцы слегка прикоснулись к моей руке.

— Нет, — сказал я, тряхнув головой. — Не трогай меня, Нед.

Он продолжал улыбаться. Поглаживать меня.

— Не отвергай меня, — прошептал он. — Не отказывайся от меня. Потому что если ты это сделаешь, ты откажешься от самого себя, ты отвергнешь реальность своего собственного существования, а разве ты способен на это, Оливер? Нет, если хочешь жить вечно. Я — полустанок на твоем пути. В глубине души мы оба знаем это уже много лет. А теперь это вышло наружу, Ол, все вышло на поверхность, все сошлось, Ол, все сошлось в этом месте, в этой комнате, этой ночью. Да? Да? Скажи «да», Оливер. Скажи «да»!

40. ЭЛИ

Я перестал понимать, кто я и где я. Я был в трансе, в тумане, в коме. Будто призрак самого себя бродил я по залам Дома Черепов, проплывал по прохладным ночным коридорам. Каменные изображения черепов смотрели на меня со стен, ухмылялись мне. Я ухмылялся им в ответ. Я подмигивал, посылал им воздушные поцелуи, смотрел на ряд массивных, исчезающих в бесконечности дубовых дверей. Все двери плотно закрыты, и загадочные имена приходят мне на ум: это комната Тимоти, эта — Неда, здесь живет Оливер. Кто они такие? А вот и комната Эли Штейнфельда. Кого? Эли Штейнфельда. Кого? *Э-ли-штейнфель-да* . Ряд невразумительных звуков. Нагромождение мертвых слогов. Э. Ли. Штейн. Фельд. Пойдем дальше. Эта комната принадлежит брату Энтони, а здесь можно найти брата Бернарда, здесь живет брат Ксавьер, а здесь — брат Клод, и брат Миклош, и брат Морис, и брат Леон, и брат Икс, и брат Игрек, а кто такие эти самые братья, что означают их имена? А вот и еще двери. Здесь должны спать женщины. Я

открываю дверь наугад. Четыре койки, четыре мясистых женщины, обнаженных, разметавшихся на скомканных простынях. Все на виду. Бедра, ягодицы, груди, лона. Лица спящих с раскрытыми ртами. Я могу подойти к ним, могу войти в них, могу обладать ими, всеми четырьмя по очереди. Но нет. Дальше, туда, где нет крыши, где сквозь неприкрытые балки мерцают звезды. Здесь прохладней. Черепа на стенах. Капель фонтана. Я прошел по общим помещениям. Здесь мы принимаем наставления в Восемнадцати Таинствах. Здесь мы занимаемся священными упражнениями. Здесь мы питаемся нашей особой пищей. А здесь — это отверстие в полу, этот *омфал* , здесь пуп земли, ворота в Преисподнюю. Я должен спуститься. Теперь вниз. Запах плесени. Света нет. Угол спуска становится более пологим: это не пропасть, а лишь подземный ход, и я это помню. Я уже проходил по нему, с другой стороны. Преграда в виде каменной плиты. Она подается, подается! Туннель идет дальше. Вперед, вперед, вперед. Тромбоны и бассетгорны, хор басов, в воздухе вибрируют слова Реквиема: «Rex tremendae majestatis, qui salvandos salva gratis, salva me, fons pietatis». Наружу! Я выбираюсь из отверстия, через которое впервые вошел в Дом Черепов. Передо

мной бесплодные пустыри, колючая пустыня. За спиной у меня Дом Черепов. Надо мной звезды, полная луна, свод небесный. Что теперь? Я неуверенно прошел по открытому пространству, мимо очерчивающих его границу каменных черепов, размером с баскетбольный мяч, и двинулся по узкой тропинке, уходящей в пустыню. У меня не было никакой определенной цели. Ноги сами несли меня. Я шел часы, дни, недели. Потом я увидел справа от себя огромный приземистый валун с грубой темной поверхностью: дорожный указатель, гигантский каменный череп. При лунном свете глубоко высеченные черты выглядели резко и зловеще, в черных провалах затаились озера ночи. Займемся медитацией прямо здесь, братия. Будем созерцать череп, скрывающийся под лицом. Я преклонил колени, и воспользовавшись приемами, которым меня научил благочестивый брат Энтони, послал свою душу вперед, объял огромный каменный череп, и очистился от уязвимости перед смертью. Череп, я знаю тебя! Череп, я не боюсь тебя! Череп, я ношу твоего собрата у себя под кожей! И я посмеялся над черепом, и позабавил себя, превратив его сначала в гладкое белое яйцо, потом — в шар розового алебастра с желтоватыми прожилками, а

затем — в хрустальную сферу, в глубины которой я погрузился. Сфера показала мне золотые башни погибшей Атлантиды. Она показала мне косматых людей в звериных шкурах, скачущих при свете факелов перед изображениями быков на стенах задымленной пещеры. Она показала мне безмолвного Оливера, в изнеможении лежащего в объятиях Неда. Я снова превратил сферу в грубо высеченный из черной глыбы череп и, удовлетворенный, пошел по тернистой тропе обратно к Дому Черепов. Я не стал спускаться в подземный ход, а вместо этого зашел за угол здания и прошелся вдоль длинной стены того крыла, где мы внимали наставлениям братьев, пока не добрался до конца здания, откуда тропинка вывела меня к возделываемым полям. При лунном свете я стал искать сорняки, но не нашел ни одного. Я погладил маленькие кустики перца. Я благословил ягоды и корни. Это священная пища, чистая пища, это пища жизни вечной. Я опустился на колени между рядов растений на прохладную, сырую, раскисшую почву и помолился о даровании мне прощения за мои грехи. Затем взошел на холмик к западу от Дома Черепов. Здесь я скинул шорты и, оставшись обнаженным в ночи, выполнил священные дыхательные упражнения,

приседая, вбирая в себя темноту, смешивая ее с внутренним дыханием, извлекая из нее энергию, распределяя эту энергию по внутренним органам. Тело мое растворилось. Я лишился массы и веса. Плыл, танцевал в воздушном столбе, на века задержав дыхание. Я парил в вечность, приблизившись к состоянию истинной благодати. А теперь наступил подходящий момент для выполнения упражнений, что я и сделал. Все движения давались мне с легкостью и ловкостью, которых я еще ни разу не достигал. Я наклонялся, крутился, прыгал, поднимался в воздух, хлопал в ладоши, испытал каждый мускул. Я испытал всего себя до остатка.

Наступал рассвет.

Первые лучи солнца упали на меня из-за восточных холмов. Я встретил восход сидя и смотрел на это пятно розового света, увеличивающееся над горизонтом, и пил солнечное дыхание. Глаза мои превратились в два светоприемника: священное пламя попадало сквозь них в лабиринт моего тела. Я полностью контролировал весь процесс, распределяя чудесный огонь по своему желанию, направляя тепло то в левое легкое, то в селезенку, то в печень, то в правое колено. Солнце прорвало линию горизонта и появилось во всей красе в

виде идеальной сферы; красный цвет рассвета резко перешел в утреннее золото, и я принял дозу его излучения.

Через некоторое время в состоянии экстатического восторга я вернулся к Дому Черепов. Когда я приблизился ко входу, из тоннеля вынырнула какая-то фигура: Тимоти. Ему каким-то образом удалось разыскать свою одежду. На лице у него застыло жесткое, напряженное выражение, зубы стиснуты, в глазах мука. При виде меня он скорчил гримасу и сплюнул. Никак больше не отреагировав на мое присутствие, он быстро зашагал прочь через открытое пространство по направлению к тропинке.

— Тимоти!

Он не остановился.

— Тимоти, куда ты идешь? Ответь мне, Тимоти! Он повернулся, и бросив на меня взгляд, исполненный ледяного презрения, сказал:

— Выхожу из игры, старик. А ты-то какого черта слоняешься здесь в такую рань?

— Ты не можешь уйти.

— Не могу?

— Это разрушит Вместилище, — сказал я.

— Плевать я хотел на Вместилище. Ты что, думаешь, я собираюсь провести остаток жизни

в этом прибежище для идиотов? — Он покачал головой. Выражение его лица смягчилось, и он продолжал уже не столь резким тоном: — Послушай, Эли, приди в себя. Ты пытаешься жить в мире фантазий. Из этого ничего не получится. Нам надо возвращаться в реальный мир.

— Нет.

— Те двое безнадежны, но ты-то, может быть, еще не потерял способности мыслить разумно. Мы можем позавтракать в Финиксе, а с первым же самолетом вылетим в Нью-Йорк.

— Нет.

— Последний шанс.

— Нет, Тимоти.

Он пожал плечами в отвернулся от меня.

— Ладно, тогда оставайся со своими шизанутыми друзьями. С меня хватит, старик. Сыт по горло!

Я стоял, застыв на месте, пока он пересекал открытое пространство, проходил между двумя маленькими каменными черепами в песке и приближался к началу тропинки. У меня не было никакого способа убедить его остаться. Этот момент был неизбежен с самого начала: Тимоти был не таким, как мы; ему не довелось пережить того, что пережили мы; у него не было наших мо-

тивов; его никогда не заставить пройти полный курс Испытания. В течение бесконечного мгновения я просчитал свои возможности и вступил в контакт е силами, определяющими судьбу Вместилища. Я спросил, наступил ли подходящий момент, и получил ответ: «Да, время пришло». И я побежал за ним.

Добравшись до ряда черепов, я быстро опустился на колени, поднял один из них с земли — мне пришлось нести его обеими руками, поскольку он весил, как я полагаю, фунтов двадцать-тридцать, — и побежал дальше. Тимоти я настиг как раз в том месте, откуда начиналась тропа. Одним ловким движением я поднял каменный череп над его головой и изо всей силы ударил им Тимоти по затылку. Через кусок базальта к моим пальцам передалось ощущение проламывающейся кости. Он упал, даже не вскрикнув. Каменный череп покрылся кровью; я уронил его, и он остался лежать там, куда упал. Золотистые волосы Тимоти окрашивались кровью, и эти красные потеки распространялись удивительно быстро. Теперь, сказал я себе, необходимо найти свидетелей и устроить соответствующий обряд. Я оглянулся на Дом Черепов. Мои свидетели уже были на месте. Обнаженный Нед и брат Энтони

в своих выцветших голубых шортах стояли перед фасадом. Я пошел к ним. Нед кивнул: он все видел. Я упал на колени перед братом Энтони, а он положил мне на пылающий лоб прохладную ладонь и мягко произнес:

— Девятое Таинство таково: ценой жизни всегда должна быть только жизнь. Знай, о Благороднорожденный, что вечность должна быть уравновешена уничтожением.

И еще он сказал:

— Поскольку жизнь означает ежедневное умирание, то, умирая, мы будем жить вечно.

41. НЕД

Я пытался вытащить Оливера, чтобы он помог похоронить Тимоти, но он остался сидеть надутым в своей комнате, как Ахилл в своем шатре. Поэтому вся работа легла на наши с Эли плечи. Оливер не открыл дверь, он не откликнулся на мой стук даже недовольным ворчанием. Я оставил его и присоединился к группе перед зданием. У Эли, стоявшего рядом с павшим Тимоти, был поистине неземной, преображенный вид: он сиял. Лицо его пылало, а тело блестело от пота в утреннем свете. Вокруг него стояли четверо братьев, четверо Хранителей: братья Энтони, Миклош, Ксавьер и Франц. Они выглядели спокойными и, похоже, были удовлетворены тем, что произошло. Брат Франц принес инструменты для рытья могилы: кирки и лопаты. Брат Энтони сказал, что кладбище неподалеку отсюда, в пустыне.

Вероятно, по причинам чистоты обряда братья не касались тела. Я сомневался, что мы с Эли сумеем пронести Тимоти дальше, чем на десять ярдов, но Эли не дрогнул. Присев на колени, он переплел лодыжки трупа и, подставив плечо

под икры Тимоти, показал мне знаком браться посередине. Мы повернули и вместе подняли неподвижную двухсотфунтовую груду с земли, слегка пошатываясь. Вслед за братом Энтони мы с Эли зашагали к кладбищу, а остальные братья держались где-то позади.

Хотя рассвело совсем недавно, солнце уже палило нещадно, и усилия, затрачиваемые на переноску этого ужасного груза сквозь колышущийся раскаленный воздух пустыни, привели меня в полугаллюцинозное состояние: открылись поры на коже, колени подкашивались, перед глазами все расплывалось, горло будто сдавила невидимая рука. Передо мной начали прокручиваться повторные замедленные кадры звездного часа Эли; наиболее значительные моменты отмечались стоп-кадром. Я увидел, как Эли бежит, как наклоняется, чтобы схватить тяжелую базальтовую глыбу, потом снова гонится за Тимоти, настигает его, раскручивается словно толкатель ядра. Неожиданно рельефно вздуваются мышцы на его правом боку, Эли удивительно плавно протягивает руку, будто собираясь легонько стукнуть Тимоти по спине, но вместо этого аккуратно и точно направляет каменный череп в более хрупкий череп Тимоти. Тимоти

сгибается, падает, неподвижно лежит. И снова. Снова. Снова. Погоня, нападение, удар опять и опять прокручиваются в мозгу, как ролик кинохроники. На эти кадры накладываются картинки с другими знакомыми образами смерти, проплывающими призрачной кисеей: изумленное лицо Ли Харви Освальда, к которому приближается Джек Руби; бесформенная фигура Бобби Кеннеди на кухонном полу; отрезанные головы Мишимы и его спутника, аккуратно положенные на генеральский стол; римский воин, протыкающий копьем фигуру на кресте; ослепительный гриб, вздымающийся над Хиросимой. И снова Эли, снова описывающий траекторию древний тупой предмет, снова удар. Время остановки. Поэзия уничтожения. Я споткнулся и чуть не упал, но красота этих образов поддержала меня, наполнив мои потрескивающие суставы и пылающие мышцы новой силой, и я удержался на ногах, прилежный носильщик трупа, с трудом бредущий по крошащейся, пропитанной щелочью почве.

— Мы пришли, — объявил брат Энтони. Неужели это кладбище? Я не увидел надгробных камней, вообще никаких знаков. Низенькие серые растения с кожистыми листьями разбросаны беспорядочными пятнами по пустому полю.

Тогда я пригляделся повнимательней, воспринимая окружающее со странной отчетливостью изнеможения, и заметил отдельные неровности на поверхности земли: то участок, казавшийся просевшим на несколько дюймов, то небольшое возвышение, будто здесь были какие-то колебания почвы. Мы бережно опустили Тимоти, и мое освобожденное от груза тело показалось мне невесомым: я действительно подумал, что сейчас поднимусь в воздух. Ноги у меня дрожали, а руки, помимо моей воли, поднялись на уровень плеч. Передышка была недолгой. Брат Франц подал нам лопаты, и мы начали копать могилу. Он один нам помогал: остальные трое Хранителей стояли поодаль, как истуканы, безмолвные, отстраненные. Земля была комковатой и мягкой: вероятно, все силы сцепления молекул были выжжены солнцем Аризоны за десятки миллионов лет. Мы рыли как рабы, как муравьи, как машины, втыкая лопаты и поднимая, втыкая и поднимая, втыкая и поднимая; каждый из нас делал свою маленькую ямку, а потом три ямки соединялись. Время от времени мы залезали на чужую территорию; один раз Эли чуть не пробил мне киркой босую ступню. Но вот работа закончена. Выкопанная вами яма имела футов семь в длину, три

— в ширину и четыре — в глубину.

— Достаточно, — произнес брат Франц.

Тяжело дыша, обливаясь потом, испытывая головокружение, мы сложили инструмент и отступили назад. Я был на грани истощения и еле держался на ногах. Приступ сухих рвотных позывов напугал меня: я поборол его, превратив в нелепую икоту. Врат Энтони сказал:

— Опустите покойника в землю.

Как это? Ничем не накрыв? Бросать землю прямо на лицо? Прах к праху? По всей видимости, так и нужно. Собрав остатки сил, мы подняли Тимоти, перетащили через вынутый грунт и опустили вниз. Он лежал на спине, его разбитая голова покоилась на мягкой земле, а глаза — было ли в них удивленное выражение? — смотрели на нас. Эли потянулся, закрыл ему глаза и слегка повернул голову набок, после чего Тимоти стал больше похож на спящего, лежавшего в более удобной для вечного покоя позе. Четверо Хранителей заняли места у четырех углов могилы. Братья Миклош, Франц и Ксавьер положили руки на свои медальоны и склонили головы. Брат Энтони, глядя прямо перед собой, произнес короткую молитву на том певучем, неразборчивом языке, на котором братья общались со жрицами (язык ацтеков?

атлантов? кроманьонцев?). Затем, на последних фразах переключившись на латынь, произнес то, что впоследствии Эли, подтвердив мою догадку, определил как текст Девятого Таинства. Потом жестом велел нам засыпать могилу. Схватив лопаты, мы начали сбрасывать землю. Прощай, Тимоти! Драгоценный отпрыск истинных американцев, наследник восьми поколений лучшей породы! Кто теперь вступит во владение твоими капиталами, кто будет нести дальше фамильное имя? Прах к праху. Тонкий слой песка Аризоны покрывает дородное тело. Мы вкалываем как роботы, Тимоти, и ты исчезаешь из виду. Как и было предначертано с самого начала. Как написано в «Книге Черепов» десять тысяч лет тому назад.

— Все обычные занятия на сегодня отменяются, — сказал брат Энтони, когда могила была засыпана и земля утрамбована. — Мы проведем день, погрузившись в медитацию, не будем принимать пищи, посвятив себя раздумьям о Таинствах.

Но прежде чем мы смогли приступить к раздумьям, нам пришлось еще поработать. Мы вернулись в Дом Черепов, намереваясь первым делом омыться, и обнаружили в коридоре перед комнатой Оливера брата Леона и брата Бернарда.

Их лица были как маски. Они показали внутрь. Оливер лежал навзничь, раскинувшись на своей койке. Очевидно, он позаимствовал нож на кухне и с искусством хирурга, которым ему уже никогда не стать, свел счеты с жизнью, вспоров себе живот и перерезав горло, не пощадив даже предательского отростка между ног. Глубокие разрезы были сделаны твердой рукой: оставшись дисциплинированным до конца, несгибаемый Оливер предал себя смерти, проявив характерную приверженность к методичности. Довести такое дело до конца я был способен не в большей степени, чем научиться ходить по лунному лучу, но Оливер всегда обладал необычайной способностью концентрации. С удивительной бесстрастностью разглядывали мы дело рук его. Многие вещи способны вызвать у меня тошноту, как и у Эли, но в этот день исполнения Девятого Таинства я лишился всех подобных слабостей.

— Есть один среди вас, — произнес брат Энтони, — кто отказался от вечности ради своих братьев из четырехсторонней фигуры, так чтобы они смогли постичь значение самоотрицания.

Да. И мы во второй раз побрели к кладбищу. А потом, за грехи свои, я отскребал толстые запекшиеся потеки крови в комнате, которая

принадлежала Оливеру. И наконец омылся и сел в одиночестве в своей келье, размышляя о Таинствах Черепа.

42. ЭЛИ

Лето тяжко навалилось на землю. Небо содрогается от одуряющей жары. Все кажется предопределенным я должным образом спланированным. Тимоти спит. Оливер спит. Нед и я остаемся. За эти месяцы мы налились силой, а кожа наша потемнела от солнца. Мы живем в каком-то полусне, безмятежно преодолевая дневной круг забот и обрядов. Мы еще не стали полноценными братьями, но срок нашего Испытания близится к концу. Через две недели после того дня, когда мы копали могилы, я постиг. ритуал с тремя женщинами, и с тех пор не испытывал ни малейших затруднений в усвоении всего, чему бы ни учили меня братья.

Дни проносятся сплошным потоком. Здесь мы находимся вне времени. Когда мы впервые появились у братьев? В апреле? Какого года? А какой год идет сейчас? Полусон, сон наяву. Иногда мне кажется, будто Оливер и Тимоти были персонажами другого сна, привидевшегося мне давным-давно. Я стал уже забывать их черты. Светлые волосы, голубые глаза, да, помню, а что

еще? Какие у них были носы, насколько выпуклы были лбы? Их лица ускользают. Тимоти и Оливер ушли, а мы с Недом остаемся. Я еще помню голос Тимоти, теплый, гибкий, хорошо управляемый, красиво модулированный, с легким аристократическим прононсом. И голос Оливера, сильный, чистый тенор, с отчетливыми и твердыми тонами, с нейтральным акцентом, английский американских прерий. Благодарность свою им выражаю. Они умерли для меня.

Этим утром вера моя поколебалась, лишь на мгновение, но мгновение это было ужасно: бездна неуверенности разверзлась подо мной после стольких месяцев беззаветной твердости, и увидел я чертей с вилами, и услышал пронзительный смех Сатаны. Возвращаясь с полей, я случайно взглянул через скудную ровную почву на то место, где лежали Тимоти и Оливер, и неожиданно тонкий скрипучий голосок в голове у меня спросил: Ты действительно считаешь, будто приобрел здесь нечто? Откуда ты можешь это знать? Насколько ты уверен в возможности получить то, к чему стремишься? Я позвал вспышку оглушающего страха и представил, будто заглядываю покрасневшими глазами в обдающее холодом будущее и вижу себя увядающим и высыхающим,

превращающимся в прах в пустом, продуваемом ветрами мире. Мгновенное сомнение покинуло меня так же неожиданно, как и появилось. Возможно, это был какой-то бродячий сгусток неясно выраженного недовольства, бесцельно перекатывавшийся через весь континент к Тихому океану, ненадолго задержавшийся, чтобы лишить меня уверенности. Потрясенный только что пережитым, я бросился в Дом, собираясь отыскать Неда и рассказать ему об этом, но, уже почти дойдя до его комнаты, решил, что эпизод слишком ничтожен, чтобы делиться им с Недом. Ты действительно считаешь, будто приобрел здесь нечто? Как я вообще мог усомниться? Странный откат, Эли.

Дверь в комнату Неда была открыта. Заглянув внутрь, я увидел, что он сидит сгорбившись, уронив лицо в ладони. Каким-то образом он ощутил мое присутствие; быстро подняв голову, сменил выражение лица, скрыв мимолетное отчаяние или подавленность за маской подчеркнутого спокойствия. Но в глазах его застыло напряжение, и мне показалось, что я увидел в них навернувшиеся слезы.

— Ты тоже это почувствовал? — спросил я.

— Что почувствовал? — Слова Неда прозвучали почти вызывающе.

— Ничего. Ничего. — Легкое пожатие плечами. *Откуда ты можешь этознать?* Мы играли друг с другом, притворялись. Но сомнение в то утро было общим. Зараза коснулась нас обоих. *Насколько ты уверен в возможностиполучить то, к чему стремишься?* Я почувствовал, как между нами поднимается стена, не позволяющая мне поведать ему о своих страхах или спросить, отчего у него такой смятенный вид. Оставив его, я пошел к себе, чтобы омыться, а потом пойти на завтрак. Мы с Недом сидели вместе, но почта не разговаривали. После завтрака должна была состояться наша утренняя встреча с братом Энтони, но я каким-то образом почувствовал, что идти не стоит, и вместо этого вернулся в свою комнату. Ты действительно считаешь, будто приобрел здесь нечто? В замешательстве я встал на колени перед огромной мозаичной маской-черепом на стене, глядя на нее немигающим взглядом, позволив себе поглотить ее, заставив мириады крошечных кусочков обсидиана, бирюзы, нефрита и перламутра слиться, поплыть и видоизмениться, пока череп не облекся для меня в плоть и я не увидел лицо поверх выступающих костей, потом еще одно, и еще, целый ряд лиц, колышущихся, постоянно перемещающихся. Вот

я увидел Тимоти, и тут же череп надел на себя более тонкие черты Оливера, а теперь я вижу отца, мгновенно превратившегося в мою мать. Откуда ты можешь это знать? Брат Энтони посмотрел на меня со стены, обращаясь ко мне на неведомом наречии, в тут же превратился в брата Миклоша, что-то бормочущего про погибшие континенты и забытые пещеры.

Насколько ты уверен в возможности получить то, к чему стремишься? А теперь я видел ту худенькую, робкую девушку с крупным носом, которую полюбил в Нью-Йорке с первого взгляда, и мне пришлось припоминать ее имя — Мики? Мики Бернштейн? — и я сказал: «Привет, я уехал в Аризону, как и говорил», но она не ответила: думаю, она уже забыла, кто я такой. Вместо нее появилась мрачная девица из мотеля в Оклахоме, а потом — полногрудый суккуб, проплывший мимо меня той ночью в Чикаго. Снова услышал я пронзительный смех из бездны; неужели мне опять предстоит пережить такие же мгновения иссушающего сомнения? Ты действительно считаешь, будто приобрел здесь нечто? На меня вдруг пристально посмотрел доктор Николеску с серым лицом, печальными глазами: покачивая головой, он упрекал меня в своей мягкой примирительной

манере за нечестное отношение к себе. Я не оправдывался, но не вздрогнул и не отвел глаза, потому что вина моя была снята с меня. Не смежив уставших век, я смотрел на него, пока он не пропал. Насколько ты уверен в возможности получить то, к чему стремишься? Появилось лицо Неда. Снова Тимоти. Лицо Оливера. Потом — мое собственное, лицо самого Эли, основного инициатора путешествия, незадачливого вождя Вместилища. Ты действительно считаешь, будто приобрел здесь нечто? Я изучил свое лицо, пожалел о его изъянах, подчинил своей воле, вернул его в пухлое, одутловатое состояние времен детства — потом снова провел сквозь время к настоящему, к новому и незнакомому Эли на Дома Черепов, а от этого Эли перешел к тому, которого еще никогда не видел: к Эли из грядущего, к Эли, стоящему вне времени, бесстрастному, флегматичному, к ставшему братом Эли с лицом из дубленой кожи, с лицом из камня. Рассматривая того Эли, я слышал неотступный голос Врага: Откуда ты можешь это знать? Откуда ты можешь это знать? *Откуда ты можешь этознать?* Он спрашивал снова и снова, барабанил меня этим вопросом, пока отзвуки не слились в единый бесформенный раскатистый грохот. И не было у меня ответа

для Него, и я вдруг оказался на темной полярной равнине, вцепившись во Вселенную, покинутую богами, и думал: «Я пролил кровь своих друзей, а ради чего? Ради этого?» Но потом силы вернулись ко мне, и я прокричал в ответ на Его раскатистые насмешки, что опираюсь на веру, что я уверен, потому что уверен. «Верую! Верую! Я лишаю Тебя победы!» И я показал себе собственный образ, шагающий по сияющим улицам отдаленного будущего, образ Эли, ступающего по пескам чужих миров, вечного Эли, обуздавшего поток лет. И я рассмеялся. Рассмеялся и Он, и смех Его заглушил мой, но вера моя больше не пошатнулась, и Он утих, и я смеялся последним.

И вот я снова сижу, дрожащий, с пересохшим горлом, перед знакомой мозаичной маской. Метаморфозы закончились. Время видений прошло. Я недоверчиво взглянул на маску, но с ней ничего не произошло. Очень хорошо. Я исследовал свою душу и не обнаружил в ней ни капли сомнения: этот заключительный пожар выжег все еще остававшиеся там нечистоты. Поднявшись я выхожу и быстро направляюсь к той части здания, где видны лишь голые балки на фоне открытого неба. Посмотрев вверх, я увидел огромного ястреба, кружившего высоко надо мной, темным

силуэтом вырисовывавшегося в ослепительной безоблачной голубизне. Ястреб, ты умрешь, а я буду жить. В этом у меня нет сомнения. Я свернул за угол и вошел в комнату, где проходили наши встречи с братом Энтони. Брат и Нед уже были там, но они явно дожидались меня: медальон так и висел на шее брата Энтони. Нед улыбнулся мне, а брат Энтони кивнул. Понимаю, казалось, говорили они. Понимаю. Эти бури пройдут. Я встал на колени рядом с Недом. Брат Энтони снял медальон и положил маленький нефритовый череп на пол перед нами.

— Обратим наш внутренний взор на символ, который мы здесь видим, — мягко произнес он.

Да. Да. С радостью, с ожиданием, без сомнений предал я себя заново Черепу и его Хранителям.